



Хулио Кортасар

---

Игра  
В КЛАССИКИ

---

# Хулио Кортасар

## Игра в классики

### Серия «Библиотека классики (АСТ)»

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63920221](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63920221)*

*Игра в классики: Издательство АСТ; М.; 2020*

*ISBN 978-5-17-112699-5*

#### **Аннотация**

Хулио Кортасар. Первый из «золотой троицы» латиноамериканской прозы середины XX века Кортасар – Борхес – Маркес. Писатель, балансирующий на грани реальности и фантастики, магического реализма и сюрреализма, непревзойденный мастер испаноязычной литературы, не вписывающийся в узкие рамки определений и жанров.

«Игра в классики». Книга, которую литературные критики традиционно сравнивают с «Игрой в бисер» Германа Гессе и с «Улиссом» Джеймса Джойса.

Книга, считающаяся своеобразным эталоном магического реализма.

«Игра в классики». Текст в тексте. Роман, в котором мистические откровения подлежат жесткой классификации, а обычные события обретают глубинный, многоуровневый смысл.

Книга, без которой не было бы не только Фаулза и Коэльо, но даже и «позднего» Маркеса!

*В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.*

# Содержание

Таблица для руководства	6
По ту сторону	9
1	9
2	22
3	31
4	40
5	49
6	55
7	58
8	60
9	63
10	70
11	73
12	77
13	87
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# Хулио Кортасар

## Игра в классики

Julio Cortazar

RAYUELA

© Heirs of Julio Cortázar, 1963

© Перевод. Л. Синянская, наследники, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

# Таблица для руководства

Эта книга в некотором роде – много книг, но прежде всего это две книги. Читателю представляется право выбирать одну из двух возможностей:

Первая книга читается обычным образом и заканчивается 56 главой, под последней строкою которой – три звездочки, равнозначные слову *Конец*. А посему читатель безо всяких угрызений совести может оставить без внимания все, что следует дальше.

Вторую книгу нужно читать, начиная с 73 главы, в особом порядке: в конце каждой главы в скобках указан номер следующей. Если же случится забыть или перепутать порядок, достаточно справиться по приведенной таблице:

73 – 1 – 2 – 116 – 3 – 84 – 4 – 71 – 5 – 81 – 74 – 6 – 7 –  
8 – 93 – 68 – 9 – 104 – 10 – 65 – 11 – 136 – 12 – 106 – 13 –  
115 – 14 – 114 – 117 – 15 – 120 – 16 – 137 – 17 – 97 – 18 –  
153 – 19 – 90 – 20 – 126 – 21 – 79 – 22 – 62 – 23 – 124 – 128  
– 24 – 134 – 25 – 141 – 60 – 26 – 109 – 27 – 28 – 130 – 151  
– 152 – 143 – 100 – 76 – 101 – 144 – 92 – 103 – 108 – 64 –  
155 – 123 – 145 – 122 – 112 – 154 – 85 – 150 – 95 – 146 – 29  
– 107 – 113 – 30 – 57 – 70 – 147 – 31 – 32 – 132 – 61 – 33 –  
67 – 83 – 142 – 34 – 87 – 105 – 96 – 94 – 91 – 82 – 99 – 35  
– 121 – 36 – 37 – 98 – 38 – 39 – 86 – 78 – 40 – 59 – 41 – 148

– 42 – 75 – 43 – 125 – 44 – 102 – 45 – 80 – 46 – 47 – 110 –  
48 – 111 – 49 – 118 – 50 – 119 – 51 – 69 – 52 – 89 – 53 – 66  
– 149 – 54 – 129 – 139 – 133 – 140 – 138 – 127 – 56 – 135 –  
63 – 88 – 72 – 77 – 131 – 58 – 131

*И, воодушевленный надеждой быть полезным, в особенности молодежи, а также способствовать преобразованию нравов в целом, я составил это собрание максим, советов и наставлений, кои являются основой той вселенской морали, что столь способствует духовному и мирскому счастью всех людей, каковыми бы ни были их возраст, положение и состояние, равно как процветанию и доброму порядку не только гражданской и христианской республики, где мы живем, но и благу любой другой республики или правительства, каковых самые глубокомудрые философы света пожелали бы измыслить.*

*Дух Библии и Вселенской Морали, извлеченный из Ветхого и Нового завета. Писано на тосканском аббате Мартини с приведением цитат. На кастильский переведено ученым клериком Конгрегации святого Каетано. С разрешения. Мадрид: Напечатано Аснаром, 1797.*

*Всегда, чуть похолодает, точнее, в середине осени, меня берет дикое желание думать о чем-нибудь Икс-центрическом и Икс-зотическом, вроде, к примеру, хотелось бы мне стать ласточкой, чтоб сорваться да и махнуть в жаркие страны, или скукожиться муравьишкой да забиться в норку и сидеть себе там, грызть пищу, запасенную с лета, а то извернуться змеей наподобие тех, что*

держат в зоопарке в стеклянных клетках, чтоб не окаменели от холода, как бывает-случается с людшками, которые не могут купить себе одежды, больно дорого, и согреться не могут, потому как керосина нет, или угля, или дров, или бензина всякого, да и денег нету, ведь ежели в карманах у тебя позвякивает, ты можешь войти в любой подвальчик и попросить себе граппы, а она ой как согревает, только нельзя Зло-употреблять, потому как Зло-употребилши – и сразу во Зло и в порок войдешь, а уж от порока до падения телесного и морального один шаг, и коли покотился по роковой наклонной плоскости к дурному поведению во всех смыслах, так уж никто на белом свете не спасет тебя от помойки людской и никто тебе руки не протянет, чтобы вытащить из вонючего болота, в котором барахтаешься, это почитай как с кондором: пока молод, парит-летает по горным вершинам, а как состарится, падает камнем вниз, чисто бомбардировщик пикирующий, у которого моральный мотор отказал. Хорошо бы то, что пишу, сослужило кому службу, чтоб посмотрел он на свое поведение, а не каялся бы, когда поздно уже и все к чертовой бабушке покотилось по его же собственной вине!

**Сесар Бруто. Кем бы мне хотелось быть, если бы я не был тем, кто я есть.**

**Глава «Пес Святого Бернардо».**

# По ту сторону

*Rien ne vous tue un homme que d'être obligé de représenter un pays<sup>1</sup>.*

*Жак Ваше, письмо к Андре Бретону*

## 1

Встречу ли я Магу? Сколько раз, стоило выйти из дому и по улице Сен добраться до арки, выходящей на набережную Конт, как в плывущем над рекою пепельно-оливковым воздухе становились различимы контуры, и ее тоненькая фигурка обрисовывалась на мосту Дез-ар; случалось, она ходила из конца в конец, а то застывала у железных перил, глядя на воду. И так естественно было выйти на улицу, подняться по ступеням моста, войти в его узкий выгнутый над водою пролет и подойти к Маге, а она улыбнется, ничуть не удивясь, потому что, как и я, убеждена, что нечаянная встреча – самое чаянное в жизни и что заранее договариваются о встречах лишь те, кто может писать друг другу письма только на линованной бумаге, а зубную пасту из тюбика выжимает аккуратно, с самого дна.

---

<sup>1</sup> Ничто так не убивает человека, как необходимость представлять какую-нибудь страну (*фр.*).

Но теперь ее на мосту наверняка нет. Ее тонкое лицо с прозрачной кожей, наверное, мелькает теперь в старых подъездах квартала Марэ, а может, она разговаривает с торговкой жареным картофелем или ест сосиски на Севастопольском бульваре. И все-таки я поднялся на мост, и Маги там не было. Теперь Мага не попадалась мне на пути, и, хотя мы знали, кто из нас где живет, и знали каждый закоулок в наших типичных парижских псевдостуденческих комнатухах, знали все до одной почтовые открытки, эти оконца в мир Брака, Гирландайо, Макса Эрнста, пришпиленные на аляповатых карнизах или крикливых обоях, тем не менее мы не пошли бы друг к другу домой. Мы предпочли встречаться на мосту, на террасе кафе или в каком-нибудь облюбованном кошками дворике Латинского квартала. Мы бродили по улицам и не искали друг друга, твердо зная: мы бродим, чтобы встретиться. О Мага, в каждой женщине, похожей на тебя, копится, точно оглушительная тишина, острое стеклянное молчание, которое в конце концов печально рушится, как захлопнутый мокрый зонтик. Как зонтик, Мага, наверное, ты помнишь тот старый зонтик, который мы принесли в жертву оврагу в парке Монсури промозглым мартовским вечером. Мы зашвырнули его; ты нашла этот зонтик на площади Согласия, он уже был порван, но ты им пользовалась всю, особенно продираясь сквозь толпу в метро или автобусе, всегда неловкая, рассеянная, занятая мыслями о пестром костюмчике или причудливых узорах, которые начерти-

ли две мухи на потолке, а в тот вечер вдруг хлынул ливень, едва мы вошли в парк, и ты уже собиралась гордо раскрыть свой зонтик, как вдруг в руках у тебя разразилась катастрофа, и нам на головы обрушились холодные молнии, черные тучи, рваные лоскутья и сверкающие, вылетевшие из гнезд спицы; мы смеялись как сумасшедшие под проливным дождем, а потом решили, что зонтик, найденный на площади, должен умереть достойным образом в парке и не может быть неблагородно выброшен на помойку или попросту за ограду; и тогда я сложил его, насколько это было возможно, мы поднялись на самое высокое место в парке, туда, где перекинут мост над железной дорогой, и с высоты я что было сил швырнул зонт на дно заросшего мокрой травой оврага, под твой, Мага, крик, напомнивший мне проклятия валькирии. Он пошел на дно оврага, словно корабль, над которым сомкнулись зеленые воды, зеленые бурные воды, а *la mer qui est plus félonesse en été qu'en hiver*<sup>2</sup>, коварные волны, Мага, – мы еще долго перечисляли все названия его последнего пристанища, влюбленные в Жуэнвиля и в парк, и, держа друг друга в объятиях, были похожи на мокрые деревья или на актеров какого-нибудь смешного венгерского фильма. И он остался там, в траве, крошечный и черный, точно раздавленный жучок. Не шелохнулся, и ни одна из его пружин не распрямилась, как бывало. Все. С ним – кончено. А нам, Мага, все было нипочем. Зачем я пришел на мост Дез-ар? Ка-

---

<sup>2</sup> Море, которое летом коварнее, чем зимой (*фр*).

жется, в этот декабрьский четверг я собирался отправиться на правый берег и выпить вина в маленьком кафе на улице Ломбар, где мадам Леони, разглядывая мою ладонь, обещает мне дальнюю дорогу и неожиданные радости. Я никогда не водил тебя к мадам Леони показать твою ладонь, может, боялся, как бы она не разгадала по ней правду обо мне, потому что твои глаза, в которые я смотрелся, всегда были ужасным зеркалом, а сама ты, как машина, только и умела повторять, и то, что мы называли любить друг друга, для меня было стоять перед тобою, Мага, с желтым цветком в руке, а ты держала две зеленые свечи, и ветер сек наши лица медленным дождем отречений и разлук и засыпал шквалом использованных билетиков на метро. Итак, я никогда не водил тебя к мадам Леони, Мага; и я знаю, ты сама сказала мне: тебе не хочется, чтобы я видел, как тыходишь в маленькую книжную лавчонку на улице Верней, где скрюченный старик заполняет тысячи каталожных карточек и знает все, что только можно знать по историографии. Ты приходила туда поиграть с котенком, старик впускал тебя и ни о чем не спрашивал, довольный и тем, что иногда ты доставала ему книгу с самой верхней полки. И ты отогревалась у печки с большой черной трубой и не хотела, чтобы я знал о том, что ты грелась у того огня. Все это следовало сказать в свое время, но вот беда: момент для этого выбрать было трудно, и даже теперь, облокотившись на перила моста и глядя на проплывающий внизу кораблик темно-винного цвета, аккуратненький, точ-

но большая, сияющая чистотой ложка, где на корме женщина в белом фартучке развешивает на проволоке белье, глядя на его выкрашенные зеленой краской окошечки с занавесками в духе Гензеля и Гретель, даже теперь. Мага, я спрашиваю себя, имеет ли смысл это хождение вокруг да около, потому что на улицу Ломбар мне удобнее было бы добраться через мост Сен-Мишель и мост О-Шанж. Окажись ты здесь сегодня, как случилось столько раз, я бы не сомневался, что это имеет смысл, но тебя нет, и, желая окончательно принизить собственное поражение, я называю это хождением вокруг да около. Теперь, подняв воротник куртки, придется идти по набережной мимо больших магазинов до Шатле, пройти в фиолетовой тени башни Сен-Жак и подняться вверх по моей улице, думая о том, что я тебя не встретил, и еще – о мадам Леони.

Да, в один прекрасный день я приехал в Париж и некоторое время жил в долг, поступая так, как поступают другие, и смотря на все теми глазами, какими смотрят все остальные. И однажды ты вышла из кафе на улице Шерш-Миди, и мы заговорили. В тот вечер все было неладно, потому что мое аргентинское воспитание мешало мне без конца переходить с одной стороны улицы на другую ради того, чтобы посмотреть на какую-то чепуху, выставленную в плохо освещенных витринах на улицах, названий которых я уже не помню. Я нехотя плелся за тобой, и ты показалась мне тогда слишком бойкой и невоспитанной, плелся, пока ты не устала оттого, что

никак не могла устать; мы забрались в кафе на Буль-Миш, и ты залпом, между двумя сдобными булочками, рассказала мне целый кусок своей жизни.

Мог ли я заподозрить тогда, что все это, казавшееся выдумкой, окажется сущей правдой: ночной бар, сцена из Фигари, корзина с фиалками, мертвенно-бледные лица, голод и побои в углу. Потом-то я поверил: были на то причины и была мадам Леони, которая, разглядывая мою ладонь, уже познавшую жар твоей груди, повторила все это почти твоими словами. «Где-то она сейчас страдает. Она всегда страдала. Она очень веселая, обожает желтый цвет, ее птица – дрозд, любимое время – ночь, любимый мост – Дез-ар». (Кораблик темно-вишнего цвета, Мага, почему мы не уплыли на нем, когда было еще не поздно?)

И смотри-ка, не успели мы познакомиться, как жизнь принялась старательно строить козни, чтобы развести нас. Ты не умела притворяться, и я очень скоро понял: чтобы видеть тебя такой, какой мне хочется, необходимо сначала закрыть глаза, и тогда сперва что-то вроде желтых звездочек как бы проскакивало в бархатном желе, затем – красные всплески веселья на целые часы, и я постепенно входил в мир Маги, который был с начала до конца неуклюжим и путаным, но в нем были папоротники, пауки Клее, и цирк Миро, и припорошенные пеплом зеркала Виейра да Силвы, мир, в котором ты двигалась точно шахматный конь, который бы вздумал ходить как ладья, пошедшая вдруг слоном. Тогда-то мы

и зачастили в киноклуб на немые фильмы, потому что я — человек образованный, не так ли, но ты, бедняжка, ровным счетом ничего не понимала в этих пожелтевших судорожных страстях, приключившихся еще до твоего рождения, в этих дряхлых пленках, на которых мечутся мертвецы; но вдруг среди них проскальзывал Гарольд Ллойд, и ты разом стряхивала дремоту и под конец была твердо убеждена, что все замечательно и что, конечно, Пабст и Фриц Ланг в большом порядке. Меня немного раздражало твое пристрастие к совершенству, твои рваные туфли и вечное нежелание принимать то, что принять можно. Мы ели рубленые бифштексы на углу около Одеона, а потом на велосипеде мчались на Монпарнас в первую попавшуюся гостиницу, лишь бы добраться до постели. Но бывало, что мы доезжали до Порт-д-Орлеан и подробно знакомились с пустырями, лежавшими за бульваром Журдан, где иногда в полночь собирались члены Клуба Змеи поговорить со слепым ясновидцем, вот ведь какой возбуждающий парадокс! Мы оставляли велосипеды на улице и брели по пустырю, то и дело останавливаясь поглядеть на небо, потому что это одно из немногих мест в Париже, где небо куда ценнее земли. Усевшись на кучу мусора, мы курили, и Мага ласково перебирала мои волосы или мурлыкала песенку, вовсе не придуманную, дурацкую песенку, прерывавшуюся вздохами или воспоминаниями. А я тем временем думал о вещах незначительных, этим методом я начал пользоваться много лет назад, лежа в больнице, и чем

дальше, тем более плодотворным и необходимым он мне казался. С большим трудом, соединяя второстепенные образы, стараясь вспомнить запахи и лица, я в конце концов все-таки извлекал из ничто коричневые ботинки, которые я носил в Олаваррии в 1940 году. У них были резиновые каблуки, а подошва такая тонкая, что в дождь вода хлюпала даже в душе. Стоило зажать в кулаке воспоминания эти ботинки, как остальное приходило само: лицо доньи Мануэлы, например, или поэт Эрнесто Моррони. Но этих я тут же отбрасывал, потому что по условиям игры вынимать из прошлого следовало только незначительное, только ничтожное, сгинувшее. Меня трясло от мысли, что ничего больше не удастся вспомнить, подъедало желание плюнуть и не мучиться, отказаться от дурацкой попытки поцеловать время, и все-таки кончалось тем, что рядом с этими ботинками я видел консервную банку с «Солнечным чаем», которым мать поила меня в Буэнос-Айресе. И ложечку для чая, ложечку-мышеловку, в которой черненькие мышки-чайники сторали заживо в чашке кипятка, выпуская шипящие пузырьки. Убежденный в том, что память хранит все, а не одних только Альбертин или великие годовщины сердца и почек, я изо всех сил старался припомнить, что было на моем рабочем столе во Флоресте, какое лицо у незапоминающейся девушки по имени Хекрептен и сколько ручек лежало в пенале у меня, пятиклассника, и под конец меня било как в лихорадке (потому что, сколько было ручек, вспомнить не удавалось, я

знаю, что они были в пенале, в специальном отделении, но сколько их было и когда их должно было быть две, а когда – шесть, никак не вспоминалось), и тогда Мага, целуя и дыша в лицо сигаретным дымом и жаром, приводила меня в себя и мы смеялись, поднимались на ноги и снова брели между мусорных куч, отыскивая наших соклубников. Уже тогда я понял: искать – написано мне на звездах, искать – эмблема тех, кто по ночам без цели выходит из дому, и оправдание для всех истребителей компасов. До одурения мы говорили с Магой о патафизике, потому что с ней приключались (и такой была наша встреча, как и тысячи других вещей, столь же темных, как фосфор), – с ней без конца приключались вещи из ряда вон и ни в какие рамки не укладывающиеся, и вовсе не потому, что мы презирали других и считали себя вышедшими из употребления Мальдорорами или какими-нибудь исключительными Мельмотами-Скитальцами. Я не думаю, чтобы светляк испытывал чувство глубокого удовлетворения на том неоспоримом основании, что он – одно из самых потрясающих чудес в спектакле природы, но представим, что он обладает сознанием, и станет ясно, что всякий раз, едва его брюшко начинает светиться, насекомого должно приятно щекотать чувство собственной исключительности. Вот и Мага приходила в восторг от тех невероятных переделок, в которые она то и дело попадала из-за того, что в ее жизни все законы постоянно терпели крах. Она принадлежала к тем, кому достаточно ступить на мост, чтобы он тотчас

же под ней провалился, к тем, кто с плачем и криком вспоминает, как своими глазами видел, но не купил лотерейного билета, на который пять минут назад выпал выигрыш в пять миллионов. Я же привык к тому, что со мной случались вещи умеренно необычные, и не видел ничего ужасного в том, что, войдя в темную комнату за альбомом с пластинками, вдруг сжимал в ладони живую и верткую гигантскую сороконожку, облюбовавшую для сна корешок именно этого альбома. Или, к примеру, открыв пачку сигарет, обнаруживал в ней серо-зеленую труху, или слышал паровозный свисток в тот самый момент и в точности такого тона, чтобы тотчас же переключиться на пассаж из симфонии Людвиг ван Бетховена, а то, забежав в писсуар на улице Медичи, сталкивался с мужчиной, который, в этот момент выходя из кабины, поворачивался ко мне, сжимая в кулаке, словно драгоценный предмет церковной утвари, невыразимую часть тела диковинного размера и цвета, и я понимал, что мужчина этот как две капли воды похож на другого (а может, то был не другой, а этот самый), который двадцать четыре часа назад в Географическом собрании делал доклад на тему о тотемах и табу и точно так же, сжимая в кулаке, показывал публике палочки из мрамора, перья из хвоста птицы-лиры, ритуальные монеты, ископаемые остатки животных, которых наделяли магическими свойствами, морских звезд, засушенных рыб, фотографии королевских наложниц, жертвоприношения охотников, огромных забальзамированных жуков-скарабеев, приводив-

ших в блаженный трепет дам, каковых на такого рода действиях всегда хватало.

Одним словом, не так-то легко рассказать о Маге, вторая сейчас наверняка бредет по Бельвилю или Панину и, старательно глядя под ноги, выискивает красный лоскуток. А если не найдет, то будет ходить всю ночь и с остекленевшим взглядом рыться в помойках, потому что убеждена: случится нечто ужасное, если она не найдет красной тряпицы, этого знака искупления, прощения или отсрочки. Я ее хорошо понимаю, потому что и сам повинуюсь знакам, потому что иногда мне и самому позарез бывает нужно найти красную тряпицу. С детских лет у меня потребность: если что-нибудь упало, я должен обязательно поднять, что бы ни упало, а если не подниму, то непременно случится беда, не обязательно со мной, но с кем-то, кого я люблю и чье имя начинается с той же буквы, что и название упавшего предмета. И хуже всего, что нет силы, способной удержать меня, если у меня что-то упало на пол, и бесполезно поднимать что-нибудь другое – не считается, несчастье случится. Сколько раз из-за этого меня принимали за сумасшедшего, да я и вправду становлюсь как сумасшедший, как ненормальный бросаюсь за выпавшей из рук бумажкой, или карандашом, или – как тогда – за куском сахара в ресторане на улице Скриба, в роскошном ресторане, битком набитом деловыми людьми, шлюхами в чернобурках и образцовыми супружескими парами. Мы были там с Рональдом и Этьеном, у меня из рук

выскочил кусочек сахара и покатился под стол, довольно далеко от нас находившийся. Первым делом я обратил внимание на то, как он катился, потому что кусок сахара обычно просто падает на пол и никуда не катится в силу своей прямоугольной формы. Этот же покатился, как шарик нафталина, отчего страхи мои усилились, и мне даже подумалось, что у меня его из рук вырвали. Рональд, который знает меня, посмотрел туда, куда должен был, судя по всему, закатиться сахар, и расхохотался. Это напугало меня еще больше, к страху примешалась ярость. Подошел официант, полагая, что я уронил нечто ценное, паркеровскую ручку, к примеру, или вставную челюсть, но он мне только мешал, и я, не говоря ни слова, метнулся на пол разыскивать кусочек сахара под подошвами у людей, которые сгорали от любопытства (и с полным на то основанием), думая, что речь идет о чем-то крайне важном. За столом сидела огромная рыжая бабища, другая, не такая толстая, но здоровая шлюха и двое управляющих или что-то в этом роде. Перво-наперво я понял, что сахара нигде нет, хотя своими глазами видел, что он покатился под стол, к самым туфлям, которые суетились под столом, точно куры. На мою беду, пол был застлан ковром, и, хотя ковер был изрядно потерт, сахар мог забиться в ворс так, что его не найти. Официант опустился на пол по другую сторону стола, и мы оба на четвереньках ползали между туфель-куриц, а их владелицы кудахтали над столом как безумные. Официант по-прежнему был уверен, что речь идет о паркеров-

ской ручке или о какой-нибудь драгоценности, и, когда мы оба совсем забились под стол, в полутьму, располагавшую к полному взаимному доверию, и он спросил меня, а я ему ответил все, как есть, он скроил такую рожу, что впору было побрызгать его лаком-закрепителем, но мне было не до смеху, страх кольцом сжал желудок и под конец привел меня в полное отчаяние (официант в ярости вылез из-под стола), а я начал хватать женщин за туфли и шарить в выемке под каблуком – не прячется ли сахар там, а курицы кудахтали, и петухи-управляющие клевали мне хребет, я слышал, как хохочут Рональд с Этьеном, но не мог остановиться и ползал от стола к столу, пока не нашел сахар, притаившийся у стула, за ножкой в стиле Второй империи. Все вокруг были взбешены, и сам я злился, сжимая в ладони сахар и чувствуя, как он перемешивается с потом и как мерзко тает, как липко мне мстит, и вот такие штучки со мной – что ни день.

(—2)

## 2

Вначале все тут было как кровопускание, пытка на каждом шагу: необходимо все время чувствовать в кармане пиджака дурацкий паспорт в синей обложке и знать, что ключи от гостиницы – на гвоздике, на своем месте. Страх, неведение, ослепление – это называется так, это говорится эдак, сейчас эта женщина улыбнется, за этой улицей начинается Ботанический сад. Париж, почтовая открытка, репродукция Клее рядом с грязным зеркалом. И в один прекрасный день на улице Шерш-Миди мне явилась Мага; когда она поднималась ко мне в комнату на улице Томб-Иссуар, то в руке у нее всегда был цветок, открытка Клее или Миро, а если на это не было денег, то в парке она подбирала лист платана. В те времена я искал на улицах ранним утром проволоку и пустые коробки и мастерил из них мобили, вертушки, которые крутились над трубами, никому не нужные машины, и Мага помогала мне их раскрашивать. Мы не были влюблены друг в друга, мы просто предавались любви с отстраненной и критической изощренностью и вслед за тем впадали в страшное молчание, и пена от пива отвердевала в стаканах паклей и становилась теплой, пока мы смотрели друг на друга и ощущали: это и есть время. В конце концов Мага вставала и начинала слоняться по комнате. Не раз я видел, как она с восхищением разглядывала в зеркале свое тело, приподнимая

груди ладонями, как на сирийских статуэтках, и медленным взглядом словно оглаживала кожу. И я не мог устоять перед желанием позвать ее и почувствовать, как она снова со мною после того, как только что целое мгновение была так одинока и так влюблена, уверовав в вечность своего тела.

В те времена мы почти не говорили о Рокамадуре, удовольствие эгоистично, и узколобое наслаждение сладостным стоном толкало нас друг к другу и связывало нас своими просоленными руками. И я принял бесшабашность Маги как естественное условие каждого отдельного момента существования, и мы, мимоходом вспомнив Рокамадура, наливались на тарелку разогретой вермишели, мешая вино с пивом и лимонадом, или неслись вниз, чтобы старуха, торговавшая на углу, открыла нам две дюжины устриц, или наигрывали на облупившемся пианино мадам Ноге мелодии Шуберта и прелюдии Баха, или сносили «Порги и Бесс», сдобренную жареным на решетке бифштексом и солеными огурчиками. Беспорядок, в котором мы жили, а вернее, порядок, при котором биде самым естественным образом постепенно превращалось в хранилище для пластинок и архив писем, ожидавших ответа, стал казаться мне обязательным, хотя я и не хотел говорить этого Маге. Не стоило большого труда понять, что незачем излагать Маге действительность в точных терминах, похвалы порядку шокировали бы ее точно так же, как и полное его отрицание. Беспорядок вообще не существовал для нее, я понял это в тот момент, когда загля-

нул однажды в ее раскрытую сумочку (дело было в кафе на улице Реомюр, шел дождь, и нас начинало мучить желание); я же принял беспорядок и даже относился к нему благожелательно, но лишь после того, как понял, что это такое; на этих невыгодных для меня условиях строились мои отношения почти со всем миром, и сколько раз, лежа на постели, которая не застилалась помногу дней, и слушая, как Мага плачет из-за того, что малыш в метро напомнил ей Рокамандура, или глядя, как она причесывается, проведя предварительно целый день перед портретом Леоноры Аквитанской и до смерти желая стать на нее похожей, – сколько раз я – словно умственную отрыжку – глотал мысль, что азы, на которых строится моя жизнь, – тягостная глупость, ибо жизнь моя истощалась в диалектических метаниях, в результате которых я выбирал ничегонеделание вместо делания и умеренное неприличие вместо общепринятых приличий. Мага укладывала волосы, распускала и снова укладывала. Думала о Рокамандуре, напевала что-то из Гуго Вольфа (скверно), целовала меня, спрашивала, как я нахожу ее прическу, или принималась рисовать на клочке желтой бумаги, и всегда она была сама по себе, целиком и полностью, в то время как у меня, лежавшего в постели, не случайно грязной, и прихлебывавшего пиво, не случайно теплое, все было иначе: всегда был я и моя жизнь, был я со своей жизнью пред жизнью других. Но я и гордился этим сознательным ничегонеделанием: сменяли друг друга луны и бесчисленные жизненные обстоятельства,

где были и Мага, и Рональд, и Рокамадур, и Клуб, и улицы, и мои нравственные недуги, и прочие пиореи, и Берт Трепа, и голод порою, и старик Труй, вызволявший меня из затруднений, но я, попадая в плен ночей, блевавших музыкой и табаком, мелких пакостей и разного рода выходов, независимо от того, подпадал ли я под их власть или оставался себе хозяином, я никогда не желал притворяться, как эти потрепанные любители богемы, нарекавшие карманный хаос высшим духовным порядком или вешавшие на него какие-либо другие ярлыки, в равной мере прогнившие; я не хотел соглашаться с тем, будто малой толики пристойности хватило бы, чтобы выпутаться из этого вконец загаженного мирка. И вот тогда я встретил Магу, и она, сама того не зная, стала свидетелем моей жизни и шпионом, и я испытывал раздражение оттого, что не переставая думал об этом и понимал: как всегда, мне гораздо легче думать, чем быть и действовать, и в моем случае ergo<sup>3</sup> из знаменитой фразочки не такое уж ergo, и даже вовсе не ergo, отчего мы всегда и брели по левому берегу, а Мага, не зная, не ведая, что была моим шпионом и свидетелем, беспредельно восхищалась моими разнообразными познаниями, пониманием литературы и даже jazz cool<sup>4</sup>, ибо все это для нее было тайной за семью печатями. И потому я чувствовал себя антагонистически близким Маге, наша любовь была диалектической любовью, которая связывает магнит

---

<sup>3</sup> Следовательно (лат.).

<sup>4</sup> «Холодного» джаза (англ.).

и железные опилки, нападение и защиту, мяч и стенку. Боюсь, что Мага строила в отношении меня некоторые иллюзии и, может, ей казалось, что я излечиваюсь от предрассудков или что меняю былые предрассудки на ее, менее назойливые и более поэтичные. И в разгар этой непрочной душевной радости, этой ложной передышки, я протягивал руку и касался клубка-Парижа, его безграничной материи, спутавшейся в единый моток, магмы его воздуха и того, что рисовалось за окном, его облаков и чердачных окон; и тогда беспорядка как не бывало, мир снова представал окаменевшим и основательным, все прочно сидело в своих гнездах и поворачивалось на плотно пригнанных петлях в этом клубке из улиц, деревьев, имен и столов. Не было беспорядка, который бы вел к избавлению, а были только грязь и нищета, пивные кружки с опивками, чулки в углу, постель, пахнувшая трудами двух тел и волосами, и женщина, гладившая мою ногу тонкой, прозрачной рукой, но ласка, которая могла бы вырвать меня на миг из этого бдения в полной пустоте, запоздала. Запоздала, как всегда, потому что, хотя мы и предавались любви столько раз, счастье, должно быть, выглядело совсем иначе, наверное, оно было печальнее, чем этот покой и это удовольствие, и, может быть, походило на единорога или на остров, на бесконечное падение в неподвижность. Мага не знала, что мои поцелуи были подобны глазам, которые начинали видеть сквозь нее и дальше, и что я как бы выходил, перелитый в иную форму, в мир, где, стоя на черной корме,

точно безумствующий лоцман, отрубал и отбрасывал воды времени.

В те дни пятьдесят какого-то года я почувствовал себя словно стиснутым между Магой и чем-то иным, что должно было случиться. Глупее глупого было восставать против мира Маги и мира Рокамадура, ибо все обещало, что едва я обрету независимость, как тут же перестану чувствовать себя свободным. Я был редкостным ханжой, и мне мешало это мелочное шпионство – подглядывание за моей кожей, за моими ногами, за тем, как я забавляюсь с Магой, за тем, как я, подобно попугаю в клетке, пытаюсь сквозь ее прутья читать Кьеркегора, но, думаю, больше всего меня беспокоила сама Мага, которая понятия не имела о том, что она за мной подглядывает, а, напротив, была совершенно убеждена в моей суверенной самостоятельности, но, пожалуй, нет, по-настоящему, меня раздражала мысль о том, что никогда в жизни мне не приблизиться к свободе больше, чем в эти дни, когда я чувствовал себя затравленным миром Маги, и что жажда избавиться от него на самом деле означала признание собственного поражения. Больно было признавать, что ни синтетические удары придуманных невзгод, ни прикрытие манихейством или какой-нибудь дурацкой наукообразной дихотомией не помогали мне отстоять себя на ступенях вокзала Монпарнас, куда волокла меня Мага, отправляясь навещать Рокамадура. Почему бы не принять того, что происходило, и не пытаться объяснять происходящего, не копаясь в

таких понятиях, как порядок и беспорядок, свобода и Рокамадур, почему бы не отнести ко всему естественно и бездумно, как это делают те, кто раздает горшки с геранями во дворике на улице Кочабамба? Наверное, надо пасть на самое дно глупости, чтобы уметь бездумно и безошибочно нащупать щеколду в уборной или на калитке Гефсиманского сада. Тогда меня, например, поражало, что Маге пришла фантазия назвать своего сына Рокамадуром. Мы, в Клубе, устали ломать над этим голову, а Мага знай твердила, что сына звали, как и его отца, а когда папаша исчез, то мальчика лучше было звать Рокамадуром, отправить в деревню и растить en poutrice<sup>5</sup>. Иногда Мага неделями не поминала Рокамадура, и это всегда совпадало с возрождением ее надежд стать певицей, исполнительницей Lieder<sup>6</sup>. Тогда Рональд склонял свою огромную рыжую голову ковбоя над пианино, а Мага вопила Гуго Вольфа с таким остервенением, что передергивало даже мадам Ноге, низавшую в соседней комнате четки, которые она продавала на Севастопольском бульваре. Нам больше было по душе ее исполнение Шумана, но и это зависело от настроения и от того, что мы собирались делать вечером, и еще – от Рокамадура, потому что стоило Маге вспомнить Рокамадура, как все пение катилось к чертям, и Рональд, оставшись у пианино один, имел полную возможность развивать свои идеи бибоба и сладко добивать нас мо-

---

<sup>5</sup> У кормилицы (фр.).

<sup>6</sup> Песен (нем.).

щью своих блюзов.

О Рокамадуре писать не хочется, во всяком случае сегодня, для этого следовало бы взглянуть на себя с еще более близкого расстояния и дать отпасть всему тому, что отделяет меня от центра. Я то и дело поминаю центр, вовсе не будучи уверенным, что знаю, о чем говорю, просто попадаю в широко распространенную ловушку геометрии, при помощи которой мы, западноевропейцы, пытаемся упорядочить нашу ось, центр, смысл жизни, Омфалос, приметы индоевропейской ностальгии. И даже мою жизнь, которую я пытаюсь описать, этот Париж, по которому я мечусь, подобно сухому листу, даже их нельзя было бы увидеть, если бы за всем этим не пульсировало стремление к оси, желание вновь сойтись у первоисточника. Сколько слов, сколько терминов и понятий для обозначения все того же разлада. Иногда я начинаю уверять себя, что глупость называется треугольником, а восемь, помноженное на восемь, даст в произведении безумие или собаку. Обнимая Магу, эту принявшую человеческий облик туманность, я твержу, что писать роман, который я никогда не напишу, или отстаивать ценою жизни идеи, которые несут освобождение народам, якобы имеет столько же смысла, сколько и лепить фигурку из хлебного мякиша. Маятник продолжает свое невинное качание, и я снова погружаюсь в несущие успокоение понятия: пустяковая фигурка, трансцендентный роман, героическая смерть. Я расставляю их по порядку, от малого к большому: фигурка, роман, геро-

изм. Думаю о иерархии ценностей, так превосходно исследованных Ортегой, Шелером: эстетическое, этическое, религиозное. Религиозное, эстетическое, этическое. Этическое, религиозное, эстетическое. Фигурка, роман. Смерть, фигурка. Мага щекочет меня языком. Рокамадур, этика, фигурка, Мага. Язык, щекотка, этика.

(—116)

Третья за бессонную ночь сигарета обжигала рот Орасио Оливейры, сидевшего на краю постели; пару раз он тихонько провел рукою по волосам спавшей рядом Маги. Был пред-рассветный час понедельника, весь день и вечер воскресенья они никуда не выходили и читали, слушали пластинки, по очереди поднимаясь разогреть кофе или заварить мате. К концу квартета Гайдна Мага заснула, а Оливейра, которому больше не хотелось слушать, выключил проигрыватель, не вставая с постели; пластинка сделала еще несколько оборотов, но ни единого звука не прорезалось больше. Неизвестно почему, эта глупая инерция навела его на мысль о бесполезных движениях, которые иногда совершают насекомые и дети. Ему не спалось, и он курил, глядя в открытое окно на мансарду напротив, где иногда скрипач допоздна пилил на своей скрипке. Жарко не было, но тело Маги грело ему ногу и правый бок, и он отодвинулся, подумав, что ночь предстоит долгая.

Ему было хорошо, как всегда, когда они с Магой договаривались поставить на всем точку без взаимных оскорблений и раздражения. Его не тронуло прибывшее авиапочтой письмо от брата, кругленького, румяного адвоката, который исписал целых четыре листа по поводу братских и гражданских обязанностей, коими напрасно швыряется Оливей-

ра. Не письмо, а просто прелесть, и Оливейра приклеил его скотчем на стену, чтобы и друзья могли получить удовольствие. Единственно ценное, что содержалось в письме, было уведомление о переводе ему денег по курсу черного рынка, который братец деликатно назвал «комиссионным» переводом. Оливейра подумал, что смог бы купить на эти деньги книги, которые давно хотел прочесть, и дать три тысячи франков Маге – пусть Делает с ними что душе угодно, может даже купить плюшевого слона в натуральную величину и привести в изумление Рокамадура. По утрам он должен был ходить к старику Трую и разбирать корреспонденцию из Латинской Америки. Мысль о том, что придется выходить из дому, чем-то заниматься, что-то разбирать, не способствовала сну. Разбирать – ну и выраженьице. Делать. Делать что-то, делать добро, делать пис-пис, в ожидании дела заняться ничегонеделанием, всюду действие, как ни крути. Но за каждым действием стоял протест, ибо всякое действие означает выйти *из*, чтобы прийти *в*, или передвинуть что-то, чтобы оно было уже не там, а тут, или войти в этот дом в противовес тому, чтобы не войти или войти в другой, – иными словами, всякий поступок предполагал, что чего-то еще не было, что-то еще не было сделано и что это можно было сделать, а именно – безмолвный протест против постоянного и очевидного недостатка чего-то, нехватки или отсутствия наличия. Думать, будто действие способно наполнить до краев или будто сумма действий может составить жизнь, достой-

ную таковой называться, – не что иное, как мечта моралиста. Лучше вообще отказаться от этого, ибо отказ от действия и есть протест в чистом виде, а не маска протеста. Оливейра закурил еще одну сигарету и усмехнулся – как ни минимально было его действие, но он совершил его. Ему не хотелось заниматься поверхностным анализированным – отвлечение и филологические ловушки почти всегда уводили в сторону. Единственно верным сейчас было чувство тяжести у входа в желудок, физически ощущавшееся подозрение, что не все ладно и что почти никогда ладным не было. Ничего страшного, просто он давным-давно отверг обман коллективных поступков, равно как и злобное одиночество, от которых бросаются изучать радиоактивные изотопы или эпоху президентства Бартоломе Митре. Если с юных лет он что-то и выбрал, то это – не защищаться посредством стремительного и жадного поглощения некой «культуры», трюк, свойственный главным образом аргентинским средним классам и имеющий целью выкрасть собственное тело у национальной и любой другой действительности и считать, что ты спасся от пустоты, в которой оно обитает. Быть может, это своеобразное, возведенное в систему дуракаваляние, по выражению его товарища Тревелера, и избавило его от вступления в орден фарисеев (активными членами которого состояли многие его друзья, и преимущественно по доброй воле); принадлежность к ордену позволяла уйти от всех проблем посредством специализации в какой-либо деятельности, за

что как бы в насмешку жаловали самыми высочайшими аргентинскими достоинствами. Впрочем, ему представлялось нечестным и слишком легким смешивать такую, например, историческую проблему, как аргентинец ты или эскимос, с проблемой выбора действия или отказа от него. Он достаточно пожил на свете и начал понимать то, что от него, всегда шедшего на поводу у других, раньше постоянно ускользало: значение субъективного в оценке объективного. Мага, например, принадлежала к тем немногим, которые считают, что физиономия человека оказывает самое непосредственное воздействие на впечатления, которые могут у него сложиться по поводу историко-социальных идей или крито-микенской культуры, а форма рук непременно влияет на чувства, которые их хозяин способен испытывать по отношению к Гирландайо или Достоевскому. И Оливейра готов был признать, что его группа крови вкупе с его детством, проведенным среди величественных дядьев, с его отроческими неразделенными любовными переживаниями и с его склонностью к астении могли оказаться факторами первостепенной важности при формировании его мировоззрения. Он принадлежал к средним классам, родом был из Буэнос-Айреса и учился в государственной школе, а такие вещи даром не проходят. Беда в том, что, опасаясь чрезмерной национальной ограниченности собственной точки зрения, он в конце концов стал тщательно взвешивать и придавать слишком большое значение всем «да» и «нет», взирая на чаши

весов словно из центра равновесия. В Париже во всем он видел Буэнос-Айрес, и наоборот; как бы ни терзала его любовь, он, страдая, чтит и потерю, и забвение. Такое поведение было губительно-удобным и даже легким, поскольку со временем становилось рефлексом и техникой, не более, и напоминало страшное ясномыслие паралитика или слепоту изумительно глупого атлета. Он уже начал ступать по жизни замедленным шагом философа и clochard<sup>7</sup> и чем дальше, тем все больше позволял инстинкту самосохранения ограничивать жизненно важные порывы в твердом намерении лучше не познать истины, чем обмануться. Бездействие, умеренное душевное равновесие, сосредоточенная несосредоточенность. Для Оливейры самым главным стало не потерять присутствие духа на этом зрелище, подобном зрелищу раздела земель Тупаком Амару, и не впасть при этом в жалкий эгоцентризм (креолоцентризм, субурцентризм, культурцентризм, фольклорцентризм), которые вокруг него повседневно провозглашались во всевозможных обличьях. Ему было десять лет, когда в один прекрасный день в тени раскидистых деревьев-параисо, осенявших его дядьев и их многозначительные поучения на историко-политические темы, он впервые робко выразил свой протест против характерного испано-итало-аргентинского восклицания: «Я вам говорю!», сопровождавшегося ударом кулака по столу, который должен

---

<sup>7</sup> Бродяги, клошара (*фр.*).

был служить гневным подтверждением. «Glieco dico io!»<sup>8</sup>, «Я вам говорю, черт возьми!» «Что доказывало, какую ценность имело это „я“? – стал думать Оливейра. – Какое всеведение утверждало это „я“ великих мира сего?» В пятнадцать лет он понял, что «я знаю только одно, что ничего не знаю»; и совершенно неизбежным представлялся ему воспоследовавший за этим откровением яд цикуты, нельзя же, в самом деле, бросать людям такой вызов безнаказанно, я вам говорю. Позднее он имел удовольствие убедиться, что и на высшие формы культуры оказывают воздействие авторитет и влияние, а также доверие, которое вызывает начитанность и ум, – то же самое «я вам говорю», но только замаскированное и неопознанное даже теми, кто их произносил; оно могло звучать как «я всегда полагал», или «если я в чем-нибудь и уверен», или «очевидно, что» и почти никогда не уравнивалось бесстрастным суждением, содержащим противоположную точку зрения. Словно бы род человеческий бдительно следил за индивидуумом, не позволяя ему чрезмерно продвигаться по пути терпимости, разумных сомнений, колебаний в чувствах. В определенный момент рождались и мозоль, и склероз, и определение: черное или белое, радикал или консерватор, гомо- или гетеро-сексуальный, образное или абстрактное, «Сан-Лоренсо» или «Бока-юниорс», мясное или вегетарианское, коммерция или поэзия. И правильно, ибо род людской не может полагаться на таких типов, как

---

<sup>8</sup> «Я вам говорю!» (*ит.*)

Оливейра; и письмо брата выражало как раз это неприятие. «Беда в том, – думал он, – что все это неминуемо приводит к одному: „animula vagula blandula“<sup>9</sup>. Что делать? – с этого вопроса и началась его бессонница. – Обломов, cosa facciamo?<sup>10</sup> Великие голоса Истории понуждают к действию. «Hamlet, revenge!»<sup>11</sup> Будем мстить, Гамлет, или удовольствуемся чиппендейловским креслом, тапочками и старым добрым камином? Сириец после всего, как известно, возмутительно расхвалил Марфу. Ты дашь битву, Арджуна? Не станешь же ты отрицать мужество, нерешительный король? Борьба ради борьбы, жить в постоянной опасности, вспомни Мария-эпикурейца, Ричарда Хиллари, Кио, Т.-Э. Лоуренса... Счастливы те, кто выбирает, кто позволяет, чтобы их выбирали, прекрасные герои, прекрасные святые, на деле же они благополучно убежали от действительности».

Может быть, и так. А разве нет? Впрочем, его точка зрения скорее сходна с точкой зрения лисы, созерцающей виноград. Может, у него и есть свои доводы, но они столь же мелки и ничтожны, как те, что муравей приводит стрекозе. Не подозрительно ли, что ясность сознания ведет к бездействию, не таит ли она в себе особой дьявольской слепоты? Отважный глупец воин, взлетевший на воздух вместе с пороховым складом, Кабраль, геройский солдат, покрывший се-

---

<sup>9</sup> «Душа, скиталица нежная» (лат.).

<sup>10</sup> «Что будем делать?» (ит.).

<sup>11</sup> «Гамлет, мсти!» (англ.).

бя славой, – не такие ли обнаруживают некое высшее видение, некое мгновенное приближение к абсолюту, сами того не сознавая (не требовать же сознательности от сержанта), по сравнению с чем обычное ясновидение, кабинетная ясность сознания, являющаяся в три часа утра тебе, сидящему на краю постели с недокуренной сигаретой во рту, значат меньше, чем откровения земляного крота.

Он поделился своими мыслями с Магой, которая уже проснулась и, свернувшись калачиком, сонно мурлыкала рядом. Мага открыла глаза и задумалась.

– Ты бы просто не смог, – сказала она. – Все мозги готов сломать, думать с утра до ночи, а дело делать – такого за вами не водится.

– Я исхожу из принципа, что мысль должна предшествовать действию, дурашка.

– Из принципа, – сказала Мага. – Сложно-то как. Ты вроде наблюдателя, будто в музее смотришь на картины. Я хочу сказать, что картины – там, а ты – в музее, и близко, и далеко. Я для тебя – картина, Рокамадур – картина. Этьен – картина, и эта комната – тоже картина. Тебе-то кажется, что ты в комнате, а ты не тут. Ты смотришь на эту комнату, а самого тебя тут нет.

– Ты, девочка, можешь смешать с грязью даже святого Фому, – сказал Оливейра.

– Почему святого Фому? – спросила Мага. – Того идиота, который хотел все увидеть, чтобы поверить?

– Его самого, дорогая, – сказал Оливейра, думая, что, по сути, Мага права. Счастливица, она могла верить в то, чего не видела своими глазами, она составляла единое целое с непрерывным процессом жизни. Счастливица, она была в этой комнате, имела полное право на все, до чего могла дотронуться и что жило рядом с нею: рыба, плывущая по течению, лист на дереве, облако в небе, образ в стихотворении. Рыба, лист, облако, образ – вот именно, разве только...

(—84)

И они начали бродить по сказочному Парижу, повинуюсь в пути знакам ночи и почитая дороги, рожденные фразой, оброненной каким-нибудь clochard, или мерцанием чердачного окна в глубине темной улицы; на маленьких площадях, в укромном месте, усевшись на скамье, они целовались или разглядывали начерченные на земле клетки классиков – любимая детская игра, заключающаяся в том, чтобы, подбивая камешек, скакать по клеткам на одной ножке – до самого Неба. Мага рассказывала о своих подругах из Монтевидео, о детских годах, о каком-то Ледесме, об отце. Оливейра слушал без желания, немного сожалея, что ему неинтересно; Монтевидео или Буэнос-Айрес – какая разница, а ему надо было закрепить свой пока еще непрочный разрыв с ними (что-то теперь подделывает Тревелер, этот неугомонный бродяга, в какие величественные переделки успел попасть после его отъезда? А как там бедняжка Хекрептен и что творится в кафе на центральных улицах?), и потому он слушал угрюмо и чертил палочкой на каменистой земле, в то время как Мага объясняла, почему Чемпе и Грасиэла хорошие девчонки и как она расстроилась оттого, что Лусиана не пришла проводить ее на паром. Лусиана – снобка, а она этого терпеть не может.

– Что значит снобка, по-твоему? – спросил Оливейра, за-

интересовываясь.

– Ну как сказать, – отозвалась Мага, наклоня голову с таким видом, будто предчувствовала, что ляпнет глупость, – я ехала в третьем классе, а если бы ехала во втором, уверена, Лусиана пришла бы меня проводить.

– В жизни не слышал лучшего определения, – сказал Оливейра.

– Кроме того, я была с Рокамадуром, – сказала Мага. Таким образом, Оливейра узнал о существовании Рокамадура, который в Монтевидео скромно звался Карлос Франсиско. Мага не склонна была сообщать подробности по поводу происхождения Рокамадура, сказала лишь, что в свое время отказалась делать аборт, а теперь начинает об этом жалеть.

– Не то чтобы жалеть, а просто не знаю, как буду жить. Мадам Ирэн стоит очень дорого, а мне надо брать уроки пения, – словом, все это обходится недешево.

Мага не очень твердо знала, почему она приехала в Париж, и Оливейра понимал, что, случись в туристском агентстве легкая путаница с билетами или визами, она с равным успехом могла причалить в Сингапуре или в Кейптауне. Главное было – уехать из Монтевидео и окунуться в то, что она скромно называла Жизнь. Самое большое преимущество Парижа состояло в том, что она прилично знала французский (*more Pitman*<sup>12</sup>) и что тут можно было увидеть лучшие картины в музеях, лучшие фильмы, – словом,

---

<sup>12</sup> По способу Питмана (*лат.*).

Kultur<sup>13</sup> в самом ее замечательном виде. Оливейру умиляла эта жизненная программа (хотя Рокамадур почему-то довольно неприятным образом охлаживал его), и он вспоминал некоторых своих блистательных буэнос-айресских подруг, которые совершенно неспособны были выбраться за пределы Ла-Платы, несмотря на все их метафизические потуги планетарного размаха. А эта соплячка, к тому же с ребенком на руках, села на пароход в третий класс и без гроша в кармане отправилась учиться пению в Париж. Мало того, она обучала его смотреть и видеть; не подозревая того, что обучает, она любила остановиться вдруг на улице и нырнуть в пустой подъезд, где ровным счетом ничего не было, но зато дальше – зеленый отблеск, просвет, и тихонько, чтобы не рассердить привратницу, она проскальзывала в большой внутренний двор, где иногда оказывалась старая статуя, или увитый плющом колодец, или вообще ничего, а только стертый пол, замощенный круглой плиткой, плесень на стенах, вывеска часовщика, старичок, прикорнувший в тенистом углу, и коты, непременно *minouche*, кис-кис, мяу-мяу, *kitten*, *katt*, *chat*, *cat*, *gatto*<sup>14</sup>, – серые, и белые, и черные – из всех сточных канав, хозяева времени и нагретых солнцем плитчатых полов, неизменные друзья Маги, которая умела щекотать им брюшко и разговаривать на их глупом и загадочном языке, назначала им свидания в условленном месте, что-

---

<sup>13</sup> Культура (нем.).

<sup>14</sup> Котенок, кот (англ., швед., фр., ит.).

то советовала и о чем-то предупреждала. Порою Оливейра, бродя с Магой, сам себе удивлялся: что толку было сердиться на Магу – стакан с пивом она почти всегда опрокидывала, а собственную ногу из-под стола вынимала специально для того, чтобы официант об нее споткнулся и разразился проклятьями; однако она была счастлива, несмотря на то что постоянно раздражала его, делая все не так, как следовало делать: она могла решительно не замечать огромной суммы счета и даже, напротив, прийти в восторг от того, что эта сумма оканчивалась скромной цифрой «3», а бывало, что ни с того ни с сего замирала посреди улицы («рено» тормозил в двух метрах, и водитель, высунувшись в окошечко, материл ее с пикардийским акцентом) – просто хотела поглядеть, как оттуда, с середины улицы, смотрелся Пантеон, потому что оттуда он смотрелся гораздо лучше, чем с тротуара. И прочее в том же духе.

К тому времени Оливейра уже знал Перико и Рональда. Мага познакомила его с Этьеном, а Этьен свел их с Грегориусом; таким образом ночью в Сен-Жермен-де-Пре был создан Клуб Змеи. Все, кого ни возьми, принимали Магу сразу же как само собой разумеющееся, хотя и раздражались: приходилось растолковывать ей почти все, о чем они говорили, к тому же постоянно половина еды с тарелки у нее разлеталась в разные стороны только потому, что она не умела как следует обращаться с вилкой и ножом, и жареная картошка в результате оказывалась в волосах у тех, кто сидел за со-

седним столиком, и приходилось извиняться и корить Магу, что она такая растяпа. И в их компании она тоже вела себя неловко, Оливейра видел, что она бы предпочла общаться с каждым из клубных друзей по отдельности, по улицам прогуливаться с Этьеном или с Бэпс, вовлекать их в свой мир, вовсе не желая вовлекать и все-таки вовлекая, – таким она была человеком и одного хотела: вылезти из привычной рутины, во что бы то ни стало вылезти и из автобуса, и из истории, но, как бы то ни было, все в Клубе были признательны Маге, хотя при любом случае ругали ее на чем свет стоит. Этьен, самоуверенный, как пес или почтовый ящик, весь белел, когда Мага, глядя на его новую картину, ляпала очередную глупость, и даже Перико Ромеро, снисходительно признавал, что «эта Мага – штучка с ручкой». Много недель, а может, и месяцев (вести счет дням Оливейре было в тягость, я счастлив, а следовательно, будущего нет) бродили и бродили они по Парижу, разглядывая то, что попадалось на глаза, не мешая случаться тому, что должно было случаться, то сплетаясь в объятиях, то отталкиваясь друг от друга в ссоре, но все это происходило вне того мира, где совершались события, о которых писали в газетах, где имели ценность семейные или родственные обязанности и любые другие формы обязательств, юридические или моральные.

Тук-тук.

– Давай вставать, – говорил иногда Оливейра.

– Зачем, – отзывалась Мага, глядя, как бегут от моста Неф

peniches<sup>15</sup>. – Тук-тук, у вас в башке птичка. Тук-тук, долбит все время, хочет, чтобы вы ей дали поесть чего-нибудь аргентинского. Тук-тук.

– Ладно, – ворчал Оливейра. – Я тебе не Рокамандур. Кончится тем, что заговорим на этом птичьем языке с лавочником или с привратницей – скандалу не оберешься. Смотри, как этот тип ухлестывает за негритянкой.

– Ее я знаю, она работает в кафе на улице Прованс. Ей нравятся женщины, бедняга зря тратит силы.

– А тебя этой негритянке удавалось заарканить?

– Конечно. Но мы просто подружились, я подарила ей свои румяна, а она мне – книжечку какого-то Ретефа, нет... постой, Ретифа, кажется...

– Ну, ясно. У тебя правда с ней ничего не было? Такой, как ты, любопытной все интересно, наверное.

– А у тебя, Орасио, было что-нибудь с мужчинами?

– Конечно. Тоже жизненный опыт, сама понимаешь. Мага взглядывала на него искоса, подозревая, что он над ней подшучивает, – рассердился на птичку в башке, ту-тук, за птичку, которая попросила чего-нибудь аргентинского. А потом набрасывалась на него, к величайшему изумлению супружеской пары, шествовавшей по улице Сен-Сулпис, и, хохоча, ерошила ему волосы, так что Оливейре приходилось хватать ее за руки, и они оба смеялись, а супружеская пара смотрела на них, и мужчина осмеливался чуть улыбнуться, а женщина

---

<sup>15</sup> Катерá (*фр.*).

чувствовала себя оскорбленной до глубины души.

– Ты права, – признался в конце концов Оливейра. – Я неисправим. Действительно, зову вставать, а так хорошо спать и спать.

Они останавливались перед витриной, читали названия книг. Мага расспрашивала, заинтересованная цветом обложки или форматом издания. И приходилось объяснять ей, какое место в литературе занимает Флобер, кто такой Монтескье, о чем писал Раймон Радиге и когда жил Теофиль Готье. Мага слушала, чертя пальцем узоры на витринном стекле. «Птичка в башке хочет, чтобы ей дали поесть чего-нибудь аргентинского, – думал Оливейра, слушая самого себя. – Боже мой, ну и вляпался».

– Разве ты не понимаешь, что ты не научишься ничему? – наконец говорил он. – Хочешь получить образование на улице, дорогая, так не бывает. Подпишись лучше на «Ридерс Дайджест».

– Ну нет, это мерзость.

«Птичка в башке, – думал Оливейра. Но не у нее, а у него. – А что у нее в голове? Ветер или сладости, во всяком случае, нечто плохо усваивающееся. Но голова не самое ее сильное место».

«Она зажмуривается и попадает в самое яблочко, – думает Оливейра. – Точь-в-точь как в стрельбе из лука по системе дзэн. Она попадает в мишень именно потому, что не знает никакой системы. А я – наоборот... Тук-тук. Такие вот

дела».

Когда Мага начинала расспрашивать о вещах вроде дзэн-буддизма (такое обычно происходило в Клубе, где постоянно говорили о ностальгиях, о познаниях столь далеких, что вполне можно было считать их основополагающими, об оборотных сторонах медалей, о другой стороне Луны), Грегоровиус силился объяснять ей элементарные основные метафизики, между тем как Оливейра, смакуя рюмку перно, смотрел на них и развлекался. Бессмысленно было объяснять что-либо Маге. Фоконье прав, для таких, как она, загадка начиналась как раз с объяснения. Мага слушала про имманентное и трансцендентальное и, хлопая своими прелестными глазами, прихлопывала к чертовой матери всю метафизику Грегоровиуса. В конце концов она убеждала себя, что поняла дзэн-буддизм, и устало вздыхала. И только один Оливейра знал, что Мага то и дело заглядывала в эти огромные пространства, не знающие времени, которые все они искали при помощи диалектики.

– Не забывай глупостей, – советовал он ей. – Зачем надевать очки, если ты в них не нуждаешься.

Мага немного сомневалась. Она так восхищалась и Оливейрой и Этьеном, которые могли спорить по три часа кряду. Они казались ей как бы стоящими в меловом круге, и ей хотелось войти в этот круг и понять, чем так важен для литературы принцип индетерминизма и почему Морелли, о котором они столько говорили и которым восторгались, со-

бирался сделать из своей книги стеклянный шар, в котором бы микро– и макрокосм слились в самоуничтожающем видении.

– Тебе объяснить это невозможно, – говорил Этьен. – Это все – уровень номер 7, а ты еще на уровне номер 2.

Мага сразу грустнела, а потом, подобрав на краю тротуара опавший лист, разговаривала с ним о чем-то, проводила им по ладони, переворачивала его со стороны на сторону, разглаживала, а под конец, сняв с него мякоть, обнажала прожилки, и его зеленый паутинчатый призрак тенью ложился ей на кожу. Этьен выхватывал у нее лист и смотрел сквозь него на свет. Именно за такие штучки они и восхищались ею, и стыдились, что бывали с ней грубы, а Мага пользовалась этим и просила еще бутылку пива и – если можно – немного жареного картофеля.

(—71)

В первый раз это была гостиница по улице Валетт, они слонялись по городу, заходя то и дело в подъезды, послеобеденный дождь всегда отдает горечью, что-то надо было делать, где-то спрятаться от этой промозглой измороси, от этих воняющих резиной плащей, и тут-то Мага прижалась к Оливейре, они смотрели друг на друга ошалело, ну конечно же, ГОСТИНИЦА, и вот старуха из-за обшарпанной конторки заговорщически приветствует их, понятное дело, чем еще заниматься в такую сучью погоду. Старуха волочила ногу, и тоска была смотреть, как она карабкалась вверх, останавливаясь на каждом шагу, чтобы подтянуть больную ногу, которая была гораздо тоще здоровой, и так – на каждой ступеньке, до самого четвертого этажа. Пахло варевом, супом, в коридоре на ковре, точно два крыла, распростерлось пятно от пролитой кем-то синей жидкости. В комнате было два окна за красными штопаными, оборванными шторами; влажная полоска света, точно ангел, склонялась к изголовью кровати под желтым стеганым покрывалом.

Мага невинно собиралась разыграть маленький спектакль, постоять у окна, делая вид, будто смотрит на улицу, пока Оливейра проверял щеколду на двери. Наверное, у нее была своя готовая схема на такой случай, а может, просто все всегда происходило именно так: сумочка клалась на стол,

вынимались сигареты и, глядя на улицу, она начинала курить, глубоко затягиваясь, отпускала замечание насчет обоев и ждала, совершенно явно ждала, выполняла обязательную процедуру, позволяя мужчине сыграть свою роль лучшим образом, давая ему время проявить инициативу. Но они вдруг расхохотались, как все это глупо. И желтое покрывало, отброшенное в угол, ватно обмякло у стены, точно бесформенная кукла.

Теперь они забавлялись, сравнивая покрывала, стены, лампы, шторы; номера в гостиницах *cinquième arrondissement*<sup>16</sup> им казались лучше, чем в гостиницах *sixième*<sup>17</sup>, а с комнатами в *septième*<sup>18</sup> им не везло, там всегда что-нибудь происходило: то в соседнем номере стучали, то начинали мрачно завывать водопроводные трубы, тогда-то Оливейра и рассказал Маге историю Тропмана.

Мага слушала, тесно прижавшись к нему; надо бы прочитать рассказ Тургенева, уму непостижимо, сколько ей надо всего прочитать за два года (почему-то именно за два); в другой же раз он рассказал о Петиио, потом о Вайдманне, о Джоне Кристи – в гостинице всегда в конце концов хотелось говорить о преступлениях, – но случалось, на Магу накатывал приступ серьезности, и она, уставившись в потолок, спрашивала, правда ли, что сиенская живопись так грандиозна, как

---

<sup>16</sup> Пятого округа (*фр.*).

<sup>17</sup> Шестого (*фр.*).

<sup>18</sup> Седьмого (*фр.*).

утверждает Этьен, и не следует ли поэкономить немного и купить пластинки и сочинения Гуго Вольфа, которые временами она напевала, замолкая на полузвуче, забывшись или рассердясь. Оливейре нравилось предаваться любви с Магой, потому что для нее ничего на свете не было важнее и еще потому – это трудно понять, – что он чувствовал себя как бы внизу, под наслаждением, которое испытывал, и, дождавшись своего мига, отчаянно цеплялся за него, пытаясь продлить, – это было все равно что проснуться и точно знать, как тебя зовут, – а потом он снова впадал в несколько сумеречное состояние, которое Оливейре, больше всего на свете боявшемуся всяческого совершенства, очень нравилось, но Мага искренне страдала, когда он возвращался к своим воспоминаниям и ко всему тому, о чем чувствовал смутную необходимость думать, но думать не мог, и тогда ей приходилось целовать его долгими поцелуями и разжигать к новым ласкам, и, уже новая, убаготоренная, она словно вырастала в его глазах, и завладевала им полностью, превращаясь в обезумевшее животное, и, упершись взглядом в пустоту, заломив руки за спину, внушала мистический страх, и, точно катящаяся с горы статуя, цеплялась ногтями за ускользающее время, и задыхалась, всхлипывала, стонала без конца, без конца. Как-то ночью она впиалась ему в плечо зубами до крови, потому что он, лежа рядом, отделился от нее и забылся своими думами, и что-то произошло между ними без слов, какое-то соглашение, Оливейре показалось, что Мага

ждала от него смерти, но ждала не сама она, не ее ясное сознание, а какая-то темная сила, крившаяся в ней и требовавшая уничтожения, – разверстая в небо пасть, что крушит ночные звезды и возвращает обеззвездешенному миру все его вопросы и страхи. Но только однажды он, почувствовав себя мифологическим матадором, для которого убить быка означает вернуть его морю, а море – небу, только однажды он надругался над Магой; то было долгой ночью, о которой они потом почти никогда не вспоминали, он поступил с ней как с Пасифаей, а потом потребовал от нее того, чего не стесняются только с самой последней проституткой, а после вознес до звезд, сжимая ее в объятиях, пахнущих кровью, и всосал в себя тень ее живота и ее спины, и познал ее, как только мужчина может познать женщину, истерзав своей кожей, волосами, слюной и стонами, опустошил, исчерпал всю, до дна, ее великолепную силу, и швырнул на простыню, на подушку, и слушал, как она плачет от счастья у самого его лица, которое огонек сигареты вновь возвращал в эту ночь и в этот гостиничный номер.

И тут же Оливейра почувствовал беспокойство, как бы она не сочла это вершиной всего, как бы не стала в любовных играх искать возвышения и приносить себя в жертву. Больше всего он боялся самой тонкой формы благодарности, которая оборачивается собачьей преданностью; ему не хотелось, чтобы свобода, единственный наряд, который был Маге к лицу, растворилась в бабьей податливости. Но скоро

успокоился, увидев, что Мага сперва как ни в чем не бывало занялась черным кофе, а потом пошла к биде и оттуда, судя по всему, вернулась вконец запутавшейся. Этой ночью с ней обошлись дальше некуда, мир, который трепетал и бился во круг, проникал в каждую пору ее существа, и первые же слова Оливейры должны были хлестнуть ее бичом, а она вернулась и села на край постели в полной растерянности, готовая утешиться ласковой улыбкой или расплывчатой надеждой, и это окончательно успокоило Оливейру. Ибо если он ее не любил и желание должно было угаснуть (а он ее не любил и желание должно было угаснуть), то следовало хуже чумы бояться хоть чем-то освятить эти забавы. Следовало избегать этого день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, в каждом гостиничном номере, на каждой площади, в каждой любовной позе и каждым утром, сидя за столиком кафе на рыночной площади; жестокое противоборство, тончайшим образом продуманная операция с блистательным по неясности результатом. Он окончательно убедился: Мага и в самом деле ждала, что Орасио убьет ее, дабы в этой смерти она, подобно птице-феникс, возродилась и наконец присоединилась к славной плеяде философов, другими словами, стала бы полноправным участником на посиделках в Клубе Змеи; Мага хотела все понять, стать об-ра-зо-ван-ной. Оливейру звали, вдохновляли, подстрекали на роль жреца-очистителя; поскольку они почти никогда не понимали друг друга и в самой живой беседе оказывались совершенно разными, исхо-

дя из в корне противоположных представлений (и она это знала, она это прекрасно понимала), единственная возможность сблизиться состояла в том, что Орасио убьет ее в момент любви, потому что в любви ей удавалось слиться с ним, и тогда в небесах, в небесах гостиничных номеров, где они сойдутся, наконец-то одинаковые в своей наготе, свершится ее воскрешение, воскрешение феникса после того, как он задушит ее в наслаждении и застынет в восторге, глядя так, словно начинает снова узнавать ее, ибо, сделав ее своею по-настоящему, отныне всегда будет с нею, а она – с ним.

(—81)

## 6

Они договаривались, что будут бродить по такому-то кварталу в определенный час. Им нравилось дразнить судьбу: а вдруг они не встретятся и целый день будут злиться по одиночке в кафе или на площади и прочтут одной книгой больше. Это выражение – «одной книгой больше» – принадлежало Оливейре, а Мага приняла его в силу закона осмоса, взаимопроникновения. По существу, для нее почти любая книга была одной книгой меньше, и сколько раз она преисполнялась непомерной жаждой знания и за безгранично долгое время (исчислявшееся примерно тремя или пятью годами) собиралась прочитать полное собрание сочинений Гете, Гомера, Дилана Томаса, Мориака, Фолкнера, Бодлера, Роберто Арльта, Святого Августина и других авторов, чьи имена то и дело заставляли ее врасплох на клубных дискуссиях. Оливейра в таком случае презрительно пожимал плечами и заговаривал об уродствах, бытующих на берегах Ла-Платы, о новой породе читателей full time<sup>19</sup>, о библиотеках, кишущих претенциозными девицами-недоучками, изменившими любви и солнцу, о домах, где запах типографской краски прикончил веселый чесночный дух. Сам он в эти дни читал мало, поглощенный просмотром старых пожелтевших картин в фильмотеке, разглядыванием деревьев, мелких предметов,

---

<sup>19</sup> *Здесь: запоем; букв.: читающих день-деньской (англ.).*

которые находил на улице, и женщин Латинского квартала. Его неясные интеллектуальные стремления сводились к не приносящим никакой пользы размышлениям, и, когда Мага спрашивала какую-нибудь дату или просила объяснить слово, он делал это нехотя, как делают нечто бесполезное. «Надо же, все знаешь», – говорила Мага удрученно. И тогда он брал на себя труд разъяснить разницу между «знать» и «иметь представление» и предлагал проверить ее на специальных тестах, от которых она, вконец запутавшись, приходила в полное отчаяние.

Выбрав место, где еще не бывали, они договаривались встретиться – найти друг друга там – и почти всегда находили. Иногда они придумывали такие невероятные варианты, что Оливейра, призывая на помощь теорию вероятности, снова и снова кружил по улицам, почти не веря в успех. Как это могло случиться, что Мага решала завернуть за угол на улицу Вожирар как раз в тот момент, когда он, находясь от нее всего в пяти кварталах, передумал и вместо того, чтобы подняться вверх по улице Буси, поворачивал в сторону улицы Месье-ле-Прэнс, просто так, без всякой на то причины, и тут наткнулся на нее, застывшую перед витриной в созерцании забальзамированной обезьяны. Потом, забравшись в кафе, они подробнейшим образом восстанавливали весь путь и каждый свой неожиданный поворот, пытаясь объяснить его телепатией, но всякий раз терпели в этом неудачу, однако они находили друг друга в лабиринте улиц, почти всегда

встречались и смеялись как сумасшедшие, уверовав, что обладают некоей могущественной силой. Оливейру приводило в восторг полное отсутствие у Маги рассудочности, восхищало ее спокойное пренебрежение самыми элементарными расчетами. То, что для него было анализом вероятностей, выбором или просто верой, что ноги сами вынесут, ей представлялось судьбой. «А если бы ты меня не встретила?» – спрашивал он. «Не знаю, но ты здесь...» Непонятным образом ответ сводил на нет вопрос, обнажал негодность его логических пружин. После этого Оливейра чувствовал в себе новый прилив сил бороться с этими ее классическими предрассудками, а Мага, как ни парадоксально, бросалась крушить его презрение к школьным познаниям. Так они и жили, Панч и Джуди, притягиваясь друг к другу и отталкиваясь, как и следует, если не хочешь, чтобы любовь кончилась цветной открыткой или песней без слов. Но любовь, какое слово...

(—7)

Я касаюсь твоих губ, пальцем веду по краешку рта и нарисую его так, словно он вышел из-под моей руки, так, словно твой рот приоткрылся впервые, и мне достаточно зажмуриться, чтобы его не стало, а потом начать все сначала, и я каждый раз заставляю заново родиться твой рот, который я желаю, твой рот, который выбран и нарисован на твоём лице моей рукой, твой рот, один из всех избранный волею высшей свободы, избранный мною, чтобы нарисовать его на твоём лице моей рукой, рот, который волею чистого случая (и я не стараюсь понять, как это произошло) оказался точь-в-точь таким, как и твой рот, что улыбается мне из-под рта, нарисованного моею рукой.

Ты смотришь на меня, смотришь на меня из близости, все ближе и ближе, мы играем в циклопа, смотрим друг на друга, сближая лица, и глаза растут, растут и все сближаются, ввинчиваются друг в друга: циклопы смотрят глаз в глаз, дыхание срывается, и наши рты встречаются, тычутся, прикусывая друг друга губами, чуть упираясь языком в зубы и щекоча друг друга тяжелым, прерывистым дыханием, пахнущим древним, знакомым запахом и тишиной. Мои руки ищут твои волосы, погружаются в их глубины и ласкают их, и мы целуемся так, словно рты наши полны цветов, источающих неясный, глухой аромат, или живых, трепещущих рыб.

И если случается укусить, то боль сладка, и если случается задохнуться в поцелуе, вдруг глотнув в одно время и отняв воздух друг у друга, то эта смерть-мгновение прекрасна. И слюна у нас одна на двоих, и один на двоих этот привкус зрелого плода, и я чувствую, как ты дрожишь во мне, подобно луне, дрожащей в ночных водах.

(—8)

Под вечер мы ходили на набережную Межиссери смотреть рыбок – дело было в марте, месяце леопарда, неверном, коварном месяце, и уже пригревало желтое солнце, в котором с каждым днем все больше проглядывал красноватый оттенок. На тротуаре у парапета, не обращая внимания на букинистов, которые ничего не собирались давать нам без денег, мы ждали момента, когда увидим аквариумы (мы прогуливались не спеша, ждали момента, когда все аквариумы загорятся в солнечных лучах) и сотни розовых и черных рыб повиснут будто птицы, застывшие в спрессованном шаре воздуха. Нелепая радость подхватывала нас, и ты, напевая что-то, тащила меня через улицу в этот мир парящих рыб.

Огромные бокалы аквариумов выносят на улицу, и вот в толпе туристов, алчущих ребятишек и сеньор, коллекционирующих экзотические виды (550 fr. pièce<sup>20</sup>), сверкают кубы аквариумов, солнце сплавляет воедино воду и воздух, а розовые и черные птицы заводят нежный танец в крошечном воздушном пространстве – медленные, стылые птицы. Мы разглядывали их и, забавляясь, приближали глаза к самому стеклу, прижимались к нему носами, приводя в ярость старых торговков, вооруженных сачками для ловли водяных бабочек, и с каждым разом все меньше понимали, что такое

---

<sup>20</sup> Франков за штуку (*фр.*).

рыба, по этому пути непонимания мы подходили все ближе к ним, которые и сами себя не понимают; мы обходили аквариумы и оказывались совсем рядом с ними, так же близко, как наша приятельница, торговка из второй от моста Неф палатки, которая, помнишь, сказала тебе: «Холодная вода убивает их, холодная вода – дело грустное...» Мне вспомнилась горничная из гостиницы, которая учила меня ухаживать за папоротником: «Не поливайте его сверху, поставьте горшок в блюдце с водой, и если он захочет пить – попьет, а не захочет – не попьет...» И еще вспоминалась совершенно непостижимая вещь, где-то вычитанная, что рыба, оказавшись в аквариуме одна, начинает тосковать, но стоит поместить в аквариум зеркало, и она успокаивается...

Мы входили в лавочки, где продавали рыб самых капризных и прихотливых, там были специальные аквариумы с термометрами и красными червячками. То и дело удивляясь вслух, к вящей ярости торговков, твердо уверенных, что уж мы-то ничего не купим по 550 франков за штуку, мы раскрывали для себя загадку их поведения и Любостей, разнообразие их форм. Дни были пропитаны влагой, мягкие, словно жидкий шоколад или апельсиновый мусс, и мы, купаясь в них, пьянели от метафор и аналогий, которые призывали на помощь, желая проникнуть в тайну. Одна рыба была точь-в-точь Джотто, помнишь, а две другие резвились, как собаки из яшмы, и еще одна – ни дать ни взять тень от фиолетовой тучи... Мы открывали жизнь, обитающую в формах, лишен-

ных третьего измерения, наблюдая, как они, эти формы, *исчезали* или превращались в едва различимую розовую полоску, неподвижно застывшую в воде, стоило им повернуться к нам. Движение плавника – и чудовище снова тут, вот они – глаза, усы, плавники, а из брюшка время от времени вылезает и плывет следом прозрачная ленточка испражнений, все никак не оторвется, пустяковина, но она разом вырывает это совершенное существо из мира чистых образов и ставит в один ряд с нами, связывает его, к месту сказать, с одним из величайших слов, которые в те дни не сходило у нас с языка.

(—93)

По улице Варенн они вышли на улицу Вано. Моросило, и Мага совсем повисла на руке у Оливейры, прижалась к его плащу, пахнущему остывшим супом. Этьен с Перико спорили о том, как объяснить мир с помощью живописи и слова. Оливейре было скучно, он обнял Магу за талию. А разве так нельзя объяснять – положить руку на талию, стройную и горячую, и идти, ощущая легкий жар мышц, – чем не разговор, ровный и настойчивый, как по Берлину: люблю тебя, люблю тебя, лю-блю те-бя. Безличной формой ничего не выразишь: лю-бить, лю-бить. Необходимо спряжение. «А после спряжения всегда – связь, соединение», – подвел грамматическую базу Оливейра. Если бы Мага могла понять, как иногда его раздражала эта подвластность желанию, *бесполезная подвластность в одиночку*, как сказал некогда поэт, какая теплая талия, мокрые волосы прижимаются к его щеке, ох эта Мага, совсем как с полотна Тулуз-Лотрека, идет, прилепившись к нему. Вначале все-таки было соединение, соитие, овладеть – значит объяснить, но не всегда наоборот. Значит найти антиэкспликативный метод, в котором это лю-блю те-бя, лю-блю те-бя становится ступицей в колесе. А Время? Все начинается сызнова, абсолюта нет. Потом надо принять пищу или вывести пищу из организма. Все обязательно снова и снова проходит через кризис. Но время идет, и снова

возникает желание, то же самое и все-таки каждый раз иное: западня, измышленная временем специально для того, чтобы питать иллюзии. «Любовь, что огонь, ей вечно гореть в созерцании Всего сущего. Ну вот, опять из тебя посыпались дурацкие слова».

– Объяснять, объяснять, – ворчал Этьен. – Да вы если не назовете вещь по имени, то и не увидите ее. Это называется собака, это называется дом, как говорил тот, из Дуино. Надо показывать, Перико, а не объяснять. Я рисую, следовательно, я существую.

– А что показывать? – спросил Перико Ромеро.

– То единственное, что оправдывает нашу жизнь.

– Это животное полагает, что нет других чувств, кроме зрения, со всеми его последствиями, – сказал Перико.

– Живопись – не просто продукт зрения, – сказал Этьен. – Я пишу всем своим существом и в этом смысле не очень расхожусь с твоим Сервантесом или Тирсо, как его там. А от вашей мании все объяснять меня с души воротит, тошнит, когда логос понимают только как слово.

– И так далее, – мрачно вмешался Оливейра. – Стоит вам заговорить о формах восприятия, как разговор превращается в спор двух глухонемых.

Мага прижалась к нему еще теснее. «Сейчас она ляпнет очередную чушь, – подумал Оливейра. – Сначала ей всегда надо потереться об меня, кожей решиться заговорить». Он почувствовал что-то вроде злой нежности, нечто настолько

противоречивое, что, верно, и было настоящим. «Надо бы придумать нежную пощечину, комариный пинок. Но в этом мире еще только предстоит совершить последние синтезы. Перико прав, великий логос не дремлет. Жаль, мы знаем, что такое геноцид, но ничего не знаем о любоциде, например, или подлинном черном свете и антиматерии, над которой бы поломал голову Грегоровиус.

– Эй, а Грегоровиус придет на наш дискобум? – спросил Оливейра.

Перико высказался, что придет, а Этьен высказался насчет Мондриана.

– Смотри, что получается с Мондрианом, – говорил Этьен. – Магические знаки Клее для него недействительны. Клее играл широко, в расчете на культурные ценности. Для понимания Мондриана вполне достаточно простого восприятия, в то время как Клее нуждается еще в целой куче других вещей. Утонченный для утонченных. И вправду китаец. Но зато Мондриан рисует абсолют. Ты стоишь перед его картиной как есть голый, и одно из двух: или ты видишь, или не видишь. А удовольствие, то, что щекочет нервы, аллюзии, страхи или наслаждение – все это совершенно лишнее.

– Ты понимаешь, что он говорит? – спросила Мага. – По моему, про Клее – несправедливо.

– Справедливость или несправедливость не имеют к этому ровным счетом никакого отношения, – сказал Оливейра, скучая. – Речь совершенно о другом. И не переводи сразу же

на личности.

– А почему он говорит, будто все эти прекрасные вещи не годятся Мондриану?

– Он хочет сказать, что понимать такую живопись, как у Клее, можно, только имея диплом *ès lettres*<sup>21</sup>, а то и *ès poésies*<sup>22</sup>, в то время как для понимания Мондриана достаточно омондрианиться – и готово дело.

– Вовсе не так, – сказал Этьен.

– Нет, так, – сказал Оливейра. – По твоим словам, для понимания полотна Мондриана нужно само полотно, и ничего больше. А следовательно, Мондриану нужно твое девственное неведение больше, чем твой жизненный опыт. Я говорю о райском неведении и невинности, а не о глупости. Обрати внимание, что даже метафора насчет голого перед его картиной отдает допотопными временами. Как ни парадоксально, Клее гораздо скромнее, потому что ему требуется соучастие тех, кто смотрит на его полотна, он не довольствуется только собою. По сути дела, Клее – это история, между тем как Мондриан – вне времени. А тебе до смерти хочется абсолютного. Понятно объясняю?

– Нет, – сказал Этьен. – *C'est vache comme il pleut*<sup>23</sup>.

– Ты все трепешься, черт тебя подери, – сказал Перико. – А Рональд живет у черта на рогах.

---

<sup>21</sup> По литературе (*фр.*).

<sup>22</sup> По поэзии (*фр.*).

<sup>23</sup> Черт подери, как льет (*фр.*).

– Прибавим шагу, – поддержал его Оливейра. – Надо укрыть брненное тело от бури, че.

– Ладно тебе. Я уже почти полюбил твой аргентинский прононс. Как в Буэнос-Айресе. Ну и придумал этот Педро Мендоса – завоевал вас всех и колонизировал.

– Абсолют, – говорила Мага, подбивая носком камешек из лужи в лужу, – Орасио, что такое абсолют?

– Ну, в общем, – сказал Оливейра, – это такой момент, когда что-то достигает своей максимальной полноты, максимальной глубины, максимального смысла и становится совершенно неинтересным.

– А вот и Вонг идет, – сказал Перико. – Китаец похож на суп из водорослей.

И почти тотчас же они увидели вышедшего из-за угла улицы Вавилон Грегоровиуса, как всегда, с огромным портфелем, набитым книгами. Вонг с Грегоровиусом остановились под фонарем (со стороны казалось, будто они встали под один душ) и торжественно поздоровались. В подъезде у Рональда была проиграна коротенькая увертюра из закрывания зонтов, из *comment ça va*<sup>24</sup>, зажгите кто-нибудь спичку, лампочка перегорела, ну и погодка *ah oui c'est vache*<sup>25</sup>, потом гурьбой стали подниматься по лестнице, но на первой же площадке остановились, наткнувшись на парочку, которая не могла оторваться друг от друга – целовалась.

---

<sup>24</sup> Как дела (*фр.*).

<sup>25</sup> Дерьмовая (*фр.*).

– Allez, c'est pas une heure pour faire les cons<sup>26</sup>, – сказал Этьен.

– Та gueule, – ответил ему полузадушенный голос. – Montez, montez, ne vous gênez pas. Та bouche, mon trésor<sup>27</sup>.

– Salaud<sup>28</sup>, – сказал Этьен. – Это Ги-Моно, мой большой друг.

На пятом этаже их поджидали Рональд и Бэпс, каждый держал в руке свечу, и пахло от них дешевой водкой. Вонг подал знак, все остановились на ступеньках и а капелла исполнили языческий гимн Клуба Змеи. И тут же кинулись в квартиру, пока не выскочили соседи.

Рональд спиной прислонился к двери. Рыжий костер волос пылал над клетчатой рубашкой.

– Дом набит старьем, damn it<sup>29</sup>. В десять вечера сюда спускается бог тишины, и горе тому, кто его осквернит. Вчера приходил управляющий читать нам нотацию. Бэпс, что нам сказал этот достойный сеньор?

– Он сказал: «На вас все жалуются».

– А что сделали мы? – сказал Рональд, приоткрывая дверь, чтобы впустить Ги-Моно.

– Мы сделали так, – сказала Бэпс, заученно вскинув руку

---

<sup>26</sup> Давай, давай, нашли время трахаться (*фр.*).

<sup>27</sup> Заткнитесь... Подымайтесь, подымайтесь, не мешайте. Давай губы, золотко (*фр.*).

<sup>28</sup> Мерзавец (*фр.*).

<sup>29</sup> Черт бы его побрал (*англ.*).

в неприличном жесте, и издала ртом непристойный трубный звук.

– А где же твоя девушка? – спросил Рональд.

– Не знаю, заблудилась, наверное, – сказал Ги. – Я думал, она пошла наверх, нам так хорошо было на лестнице, и вдруг слиняла. Посмотрел наверху – тоже нет. А, черт с ней, она шведка.

(—104)

Багровые приплюснутые тучи над ночным Латинским кварталом, влажный воздух с запоздалыми каплями дождя, которые ветер вяло швырял в плохо освещенное окно с грязными стеклами, где одно разбито и кое-как залеплено розовым пластырем. А наверху, под свинцовыми водосточными желобами, наверное, спали голуби, тоже свинцовые, спрятав головы под крыло, – эдакие образцовые антиводостоки. Защищенный окном параллелепипед, пропахший водкой и свечами, сырой одеждой и недоеденным варевом, – так называемая мастерская керамистки Бэпс и музыканта Рональда и одновременно – помещение Клуба: плетеные стулья, облупившиеся консоли, огрызки карандашей и обрывки проволоки на полу, чучело совы с полусгнившей головой, и над всем этим – скверно записанная, затрепанная мелодия со старой, заигранной пластинки под непрерывное шипение, потрескивание и щелчки; жалобный голос саксофона, году в двадцать восьмом или в двадцать девятом прокричавший о том, что он боится пропасть, поддержанный любительской ударной группой из женского колледжа и партией фортепиано. Но потом пронзительно вступила гитара, точно возвещая переход к иному, и неожиданно (Рональд, предупреждая их, поднял палец) вперед вырвался корнет и, уронив две первые ноты темы, оперся на них, как на трамплин. Бикс ударил

по сердцу, четко – как падение в тишине – прочертил тему. Двое, давно уже мертвых, сражались, то сплетаясь в братском объятии, то расходясь в разные стороны, двое, давно уже мертвых, – Бикс и Эдди Ланг (которого звали Сальваторе Массаро) – перебрасывали, точно мяч, тему «I'm coming, Virginia», Виргиния, там-то, наверное, и похоронен Бикс, подумал Оливейра, да и Эдди Ланг, в каких-нибудь нескольких милях друг от друга покоятся оба, ставшие теперь прахом, ничем, а было время, в Париже однажды ночью они схлестнулись – гитара против корнета, джин против беды – и это был джаз.

– Хорошо тут. Тепло, темно.

– С ума сойти, какой Бикс. Поставь, старик, «Jazz me Blues». Сджазуй мне блюз.

– Вот как влияет техника на искусство, – сказал Рональд, роясь в стопке пластинок. – До появления долгоиграющих в распоряжении артиста было всего три минуты. А теперь какой-нибудь Стэн Гетц может стоять перед микрофоном двадцать пять минут и заливаться, сколько душе угодно, показывать, на что способен. А бедняге Биксу приходилось укладываться в три минуты – и сам, и сопровождение, и все прочее, только войдет в раж, и привет! – конец. Вот, наверное, бесились те, кто записывал.

– Не думаю, – сказал Перико. – Это все равно что писать сонеты, а не оды, лично я в этих пустопениях не разбираюсь. Прихожу потому, что надоедает сидеть дома и читать беско-

вечный трактат Хулиана Мариаса.

(—65)

Грегоровиус позволил налить себе стакан водки и стал пить ее понемножку. Две горящих свечи стояли на каминной доске, где Бэпс держала грязные чулки и бутылки из-под пива. Сквозь прозрачный стакан Грегоровиус с восторгом наблюдал за тем, как независимо горели две свечи, такие же чужие, совсем из другого времени, как вторгшийся сюда на несколько мгновений корнет Бикса. Ему мешали ботинки Ги-Моно, который лежал на диване и не то спал, не то слушал с закрытыми глазами. Мага, зажав в зубах сигарету, подошла и села на пол. В ее глазах плясало пламя зеленых свечей. Грегоровиус завороченно смотрел, и ему вспомнилась улица в Морло под вечер, высокий-высокий виадук и облака.

– Этот свет совсем как вы – сверкает, трепещет, все время в движении.

– Как тень от Орасио, – сказала Мага. – Нос у него то большой делается, то маленький – здорово.

– А Бэпс – пастушка, пасет эти тени, – сказал Грегоровиус. – Все время имеет дело с глиной, вот и тени такие плотские... Здесь все дышит, восстанавливается утраченная связь, и музыка помогает тому, водка, Дружба... Видите тени на карнизе, у комнаты словно есть легкие, и даже как будто сердце бьется. Да, электричество все-таки выдумка элотов, оно отняло у нас тени, Умертвило их. Они стали частью

мебели, лиц. А здесь все не так... Взгляните на потолочную лепнину: как дышит ее тень, завиток поднимается, опускается, поднимается, опускается. Раньше человек входил в ночь, она впускала его в себя, он вел с ней постоянный диалог. А ночные страхи – какое пиршество для воображения...

Соединив ладони, он оттопырил большие пальцы в стороны, и на стене собака стала открывать рот и шевелить ушами. Мага засмеялась. Тогда Григоровиус спросил ее, как выглядит Монтевидео, и собака тут же пропала – он не был уверен, что Мага уругвайка. Тшш... Лестер Янг и «Канзас-Сити-Сикс». Тшш... (Рональд приложил палец к губам.)

– Уругвай для меня – полная диковина. Монтевидео, наверное, весь из башен и колоколов, отлитых в честь победных сражений. И не уверяйте, будто в Монтевидео на берегу реки не водятся огромные ящерицы.

– Конечно, водятся, – сказала Мага. – Своими глазами можно увидеть, надо только автобусом доехать до Поситос.

– А Лотреамона в Монтевидео знают?

– Лотреамона? – спросила Мага.

Грегоровиус вздохнул и отхлебнул водки. Лестер Янг – сакс-тенор, Дикки Уэллс – тромбон, Джо Бушкин – рояль. Бил Колмен – труба, Джон Симмонс – контрабас, Джо Джонс – ударные. «Four O'clock Drag». Да, огромные ящерицы, тромбоны на берегу реки, ползущий blues, а drag, по-видимому, означает ящерицу времени, которая ползет и ползет, еле тащится, как время в бессонницу, в четыре часа утра.

А может, и совершенно другое. «Ах, Лотреамона, – вдруг вспомнила Мага. – Лотреамона, конечно, знают, очень даже хорошо».

– Он был уругвайцем, хотя и не похоже.

– Не похоже, – сказала Мага, оправдываясь.

– На самом деле, Лотреамон... Ладно, а то Рональд сердится – мешаем слушать его кумиров. Придется помолчать, какая жалость. Давайте говорить шепотом, расскажите мне про Монтевидео.

– Ah, merde alors<sup>30</sup>, – сказал Этьен, свирепо глянув на них. Вибрафон ощупывал воздух, взбираясь по призрачным ступеням; перескакивал через ступеньку, потом сразу через пять и вдруг вновь оказывался на самом верху; Лайонел Хемптон раскачивался в «Save it pretty mamma», взлетал и падал вниз, катился по стеклу, закручивался на носке; вспыхивали звезды – три, пять, десять, – а он гасил их носком туфли и все раскачивался, сумасшедше крутя в руке японский зонтик, а оркестр уже вступал в финал; пронзительный корнет – и вниз, с каната – на землю, finibus, конец. Грегориус слушал, как Мага шепотом вела его по Монтевидео, и, может быть, в конце концов он узнал бы о ней чуть-чуть больше, о ее детстве и правда ли, что ее звали Лусиа, как Мими; водка привела его в то состояние, когда ночь становится щедрой, все вокруг сулит верность и надежду; Ги-Моно уже согнул ноги, и его грубые ботинки не впивались боль-

---

<sup>30</sup> А, черт возьми (фр.).

ше Грегоровиусу в копчик, а Мага прислонилась к нему, и он слегка ощущал мягкость ее тела, каждое ее движение, когда она наклонялась, разговаривая, или слегка покачивалась в такт музыке. Как сквозь пелену, Грегоровиус еле различал в углу Рональда с Вонгом, выбиравших и ставивших пластинки, Оливейру и Бэпс, которые откинулись на эскимосский ковер, прибитый к стене; Орасио ритмично покачивался в табачном дыму, а Бэпс совсем осоловела от водки; в комнате все шиворот-навыворот, некоторые краски совсем изменились, синее пошло вдруг оранжевыми ромбами, ну просто невыносимо. В табачном дыму губы Оливейры беззвучно шевелились, он говорил сам с собой, обращаясь к кому-то в прошлом, но от этого у Грегоровиуса внутри будто все переворачивалось, наверное, потому, что такое вроде бы отсутствие Орасио на самом деле было фарсом, он просто позволял Маге чуть-чуть порезвиться, но сам был тут, рядом, и, беззвучно шевеля губами, сквозь дым и джаз, разговаривал с Магой, а про себя хохотал: не слишком ли она увлеклась Лотреамоном и Монтевидео?

Грегоровиусу нравились эти сборища в Клубе, потому что на самом деле все это совершенно не походило ни на какой клуб и именно этим соответствовало самым высоким представлениям о такого рода сборищах. Ему нравился Рональд – за анархизм и за то, что рядом с ним жила Бэпс, за то, как они день за днем, без всякого надрыва, убивали себя чтением Карсон Мак-Каллерс, Миллера, Раймона Кено и самоотдавались джазу, полагая его неким проявлением свободы, и еще за то, что оба не стеснялись признаться: в искусстве они потерпели поражение. Ему нравился, кстати сказать, и Орасио Оливейра, отношения с которым были довольно трудными: присутствие Оливейры начинало раздражать Грегоровиуса сразу же, едва он находил его после того, как безотчетно искал, в то время как Оливейру развлекали дешевые уловки, с помощью которых Грегоровиус драпировал свое происхождение и образ жизни, и забавляло, что Грегоровиус, как видно влюбленный в Магу, свято верил, что Оливейра этого не замечает; таким образом, оба они в одно и то же время стремились друг к другу и взаимно отталкивались, ни дать ни взять – бык и тореро, ради чего, в конце концов, и существовал Клуб. Оба играли в интеллигентов, разговаривали намеками, что Магу приводило в отчаяние, а Бэпс – в ярость; одному из них достаточно было мимоходом

упомянуть что-нибудь, как начиналась отчаянная гонка с целью догнать и перегнать: один поминал небесного пса, другой произносил: «I fled Him»<sup>31</sup> – и пошло, поехало... а Мага, чувствуя себя совершенно ничтожной, следила в отчаянии, как оба забирались все выше и выше – попробуй достань – и в конце концов, расхохотавшись над собой, бросали игру, но поздно, потому что Оливейре становился противен этот эксгибиционизм ассоциативной памяти, а Грегоровиус ощущал, что отвращение это вызвал он своей страстью к ассоциативным упражнениям, и оба, чувствуя себя сообщниками, бросали забаву, но через две минуты снова пускались в игру, которая, собственно, наряду с некоторыми другими и составляла смысл клубных сборищ.

– Не часто случалось пить такую отраву, – сказал Грегоровиус, наполняя стакан. – Лусиа, вы рассказывали о своем детстве. Мне интересно не потому, что без этого я не мог бы представить вас на берегу реки с косами и румянцем во всю щеку, какой бывает у моих землячек из Трансильвании до того, как они бледнеют от проклятого лютецианского климата.

– Лютецианского? – спросила Мага.

Грегоровиус вздохнул. И принялся объяснять, а Мага смиренно слушала, как всегда, стараясь изо всех сил понять пока какое-нибудь новое отвлечение не спасало ее от этой пытки. Рональд поставил старую пластинку Хоукинса, и Ма-

---

<sup>31</sup> Я бежал от Него (англ.).

га, казалось, примирилась с тем, что объяснения Грегоровиуса разрушают музыку и опять не принесли ей того, чего она всегда ожидала от объяснений, – чтобы мурашки пошли по коже и захотелось вздохнуть глубоко-глубоко, как, наверное, вздохнул Хоукинс, прежде чем снова наброситься на мелодию, и как иногда дышалось ей, когда Орасио удостаивал ее настоящим разъяснением какой-нибудь туманной стихотворной строки, в результате чего непременно возникала новая, сказочная неясность; вот если бы теперь вместо Грегоровиуса Оливейра принялся объяснять ей про Лютецию, то все бы слилось в одно туманное счастье – и музыка Хоукинса, и лютецианцы, и язычки зеленых свечей, и мурашки по коже – и ей бы дышалось глубоко-глубоко, а это было то единственное, что неопровержимо доказывало: все это достоверно и может сравниться только с Рокамадуrom, или со ртом Орасио, или еще – с моцартовским адажио, которого уже почти нельзя стало слушать – так заиграли пластинку.

– Не в этом дело, – сдался наконец Грегоровиус. – Я просто хотел немного больше узнать о вашей жизни, разобраться, что вы за существо такое многогранное.

– О моей жизни, – сказала Мага. – Да мне и спяну ее не рассказать, а вам не разобраться, как я могу рассказать о детстве? У меня его просто не было.

– У меня тоже не было детства. В Герцеговине.

– А у меня – в Монтевидео. Знаете, иногда мне ночью снится школа, и это так страшно, что я просыпаюсь от соб-

ственного крика. А иногда снится, что мне пятнадцать лет, не знаю, было вам пятнадцать лет когда-нибудь...

– Я думаю, было, – сказал Грегоровиус не очень уверенно.

– А мне – было, в доме с внутренним двориком, уставленном цветами в горшках, и мой папа пил там мате и читал мерзкие журналы. К вам приходит иногда ваш папа? Я хочу сказать, видится он вам?

– Нет, скорее – мама, – сказал Грегоровиус. – Чаще всего та, что из Глазго. Моя английская мама иногда является, но не как видение, а как эдакое несколько подмоченное воспоминание, вот так. Но выпьешь алка-зельтцер – и она уходит, безо всякого. А у вас как?

– Откуда я знаю. – Мага стала обнаруживать нетерпение. – Музыка тут, свечи зеленые, Орасио в углу сидит, как индеец. А я должна рассказывать, как мне папа видится... Несколько дней назад я сидела дома, ждала Орасио, ночь наступила, сижу на постели, на улице дождь как из ведра, ну точь-в-точь музыка на этой пластинке. Да, немного похоже, смотрю на постель, жду Орасио и – не знаю, может, одеяло так странно лежало, – только вдруг вижу: папа повернулся ко мне спиной и с головой накрылся, он всегда так накрывался, когда напьется и ляжет спать. Ноги даже видны под одеялом, и руку будто на грудь положил. У меня прямо волосы дыбом встали, закричать хотела, представляете, какой ужас, вам, наверное, тоже бывало страшно когда-нибудь... Хотела выскочить из комнаты, а дверь так далеко, в самом конце коридора, а за

ним – еще коридоры, а дверь все отодвигается, отодвигается, а розовое одеяло колышется, и слышно, как папа храпит, чувствую: вот-вот вытащит из-под одеяла руку, и нос, острый, как гвоздь, вижу под одеялом, да нет, зачем я все это вам рассказываю, в общем, я так закричала, что прибежала соседка снизу и отпаивала меня чаем, а потом и Орасио пришел, что-то мне давал, чтобы истерика прошла.

Грегоровиус погладил ее по волосам, и Мага опустила голову. «Готов, – подумал Оливейра, отказываясь дальше следить за упражнениями, которые проделывал Диззи Гиллеспы, не подстрахованный сеткой, на самой верхней трапеции, – готов, как и следовало ожидать. С ума сходит по ней, стоит взглянуть на него – сразу понятно. Старая, как мир, игра. Снова и снова влезает в затрепанную ситуацию и, как идиоты, учим роль, которую и без того знаем назубок. Если бы я погладил ее вот так по головке и она рассказала бы мне свою аргентинскую сагу, мы бы сразу же оба размякли, да еще под хмельком, так что одна дорога – домой, а там уложить ее в постель ласково и осторожно, тихонько раздеть, не торопясь расстегивая каждую пуговицу и бережно открывая каждую „молнию“, а она – не хочет, хочет, не хочет, раскаивается, закрывает лицо руками, плачет, вдруг обнимает и, словно собираясь предложить что-то крайне возвышенное, помогает спустить с себя трусики и сбрасывает на пол туфли так, что это выглядит возражением, а на самом деле разжигает к последнему, решительному порыву, – о, это нечест-

но. Придется набить тебе морду, Осип Грегоровиус, бедный мой друг. Без особого желания, но и без сожаления, как то, что выдувает сейчас Диззи, без сожаления, но и без желания, безо всякого желания, как Диззи».

– Какая пакость, – сказал Оливейра. – Вычеркнуть из меню эту пакость. Ноги моей больше не будет в Клубе, если еще хоть раз придется слушать эту ученую обезьяну.

– Сеньору не нравится боп, – сказал Рональд язвительно. – Погодите минутку, сейчас мы вам поставим что-нибудь Пола Уайтмена.

– Предлагаю компромиссное решение, – сказал Этьен. – При всех разногласиях против Бесси Смит никто не возразит, Рональд, родной, поставь эту голубку из бронзовой клетки.

Рональд с Бэпс расхохотались, не очень ясно было почему, и Рональд отыскал пластинку среди старых дисков. Игла ужасающе зашипела, потом в глубине что-то заворочалось, будто между ухом и голосом было несколько слоев ваты, будто Бесси пела с запеленутым лицом, откуда-то из корзины с грязным бельем, и голос выходил все более и более задушенным, цепляясь за тряпки, голос пел без гнева и без жалости: «I wanna be somebody's baby doll»<sup>32</sup>, пел и склонял к терпению, голос, звучащий на углу улицы, перед домом, набитым старухами, «to be somebody's baby doll»<sup>33</sup>, но вот в нем

---

<sup>32</sup> Хочу быть чьей-то игрушкой (*искаж. англ.*).

<sup>33</sup> Быть чьей-то игрушкой (*англ.*).

послышался жар и страсть, и он уже задыхается: «I wanna be somebody's baby doll...»

Обжигая рот долгим глотком водки, Оливейра положил руку на плечи Бэпс и поудобнее прислонился к ней. «Посредники», – подумал он, тихо погружаясь в клубы табачного дыма. Голос Бесси к концу пластинки совсем истончался, сейчас Рональд, наверное, перевернет бакелитовый диск (если он из бакелита), и этот стертый кружок возродит еще раз «Empty Bed Blues» и одну из ночей двадцатых годов где-то в далеком уголке Соединенных Штатов. Рональд, закрыв глаза и сложив руки на коленях, чуть покачивался в такт музыке. Вонг с Этьеном тоже закрыли глаза, комната почти погрузилась в темноту; слышно было только, как шипит игла на старой пластинке, и Оливейре с трудом верилось, что все это происходит на самом деле. Почему тогда – там, почему теперь – в Клубе, на этих дурацких сборищах, и почему он такой, этот блюз, когда его поет Бесси? «Они – посредники», – снова подумал он, покачиваясь вместе с Бэпс, которая опьянела окончательно и теперь плакала, слушая Бесси, плакала, сотрясаясь всем телом то в такт, то в контрапункт, и загоняла рыдания внутрь, чтобы ни в коем случае не оторваться от этого блюза о пустой постели, о завтрашнем утре, о башмаках, хлюпающих по лужам, о комнате, за которую нечем платить, о страхе перед старостью, о пепельном рассвете, встающем в зеркале, что висит у изножия постели, – о, эти блюзы, бесконечная тоска жизни. «Они – посредники,

ирреальность, показывающая нам другую ирреальность, подобно тому как нарисованные святые указывают нам пальцем на небо. Не может быть, чтобы все это существовало, и что мы на самом деле здесь, и что я – некто по имени Орасио. Этот призрак, этот голос негритянки, умершей двадцать лет назад в автомобильной катастрофе, – звенья несуществующей цепи; откуда мы здесь и как мы собрались сегодня ночью, если не по воле иллюзии, если не повинуюсь определенным и строгим правилам некоей игры и если мы не карточная колода в руках непостижимого банкмета...»

– Не плачь, – склонился Оливейра к уху Бэпс. – Не плачь, Бэпс, всего этого нет.

– О, нет, нет, есть, – сказала Бэпс, сморкаясь. – Все это есть.

– Может, и есть, – сказал Оливейра, целуя ее в щеку. – Но только это неправда.

– Как эти тени, – сказала Бэпс, шмыгая носом и покачивая рукой из стороны в сторону. – А так грустно, Орасио, потому, что это прекрасно.

Но разве все это – пение Бесси, рокот Коулмена Хоукинса, – разве это не иллюзии и даже хуже того – не иллюзии других иллюзий, головокружительная цепочка, уходящая в прошлое, к обезьяне, заглядевшейся на себя в воде в первый день сотворения мира? Но Бэпс плакала и Бэпс сказала: «О, нет, нет, все это есть», и Оливейра, тоже немного пьяный, чувствовал, что правда все-таки заключалась в том, что

Бесси и Хоукинс были иллюзиями, потому что только иллюзии способны подвигнуть верующих, только иллюзии, а не истина. И более того – все дело было в посредничестве, в том, что эти иллюзии проникали в такую область, в такую зону, которую невозможно вообразить и о которой бессмысленно думать, ибо любая мысль разрушила бы ее, едва попытавшись к ней приблизиться. Дымовая рука вела его за руку, подвела к спуску, если это был спуск, указала центр, если это был центр, и вложила ему в желудок, – где водка ласково бурлила пузырьками и кристалликами, – вложила нечто, что было другой иллюзией, бесконечно отчаянной и прекрасной, и некогда названо бессмертием. Закрыв глаза, он в конце концов сказал себе, что, если такой ничтожный ритуал способен вывести его из состояния эгоцентризма и указать иной центр, более достойный внимания, хотя и непостижимый, значит, не все еще потеряно и, быть может, когда-нибудь, при других обстоятельствах и после других испытаний, постижение окажется возможным. Но постижение чего и зачем? Он был слишком пьян, чтобы дать хотя бы рабочую гипотезу, хотя бы набросать возможные пути. Однако не настолько пьян, чтобы перестать думать об этом, и этих жалких мыслей ему хватало, чтобы чувствовать, как он уходит все дальше и дальше от чего-то слишком далекого, слишком ценного, чтобы обнаружить себя в этом мешающем и убаюкивающем тумане – в тумане из водки, тумане из Маги, тумане из Бесси Смит. Перед глазами у него пошли зе-

ленные круги, все завертелось, и он открыл глаза. После этих пластинок у него всегда начинались позывы к рвоте.

(—106)

## 13

Окутанный дымом Рональд ставил пластинку за пластинкой, не трудясь узнать, кому что нравится, и Бэпс время от времени поднималась с полу и, порывшись в старых, на 78 оборотов пластинках, тоже отбирала пять или шесть и клала на стол, под руку Рональду, который наклонился и гладил Бэпс, а та, смеясь, изгибалась и садилась ему на колени, хоть на минутку, потому что Рональд хотел спокойно, без помехи послушать «Don't play me chear». Сатчмо пел:

Don't you play me chear  
Because I look so meek<sup>34</sup>, —

и Бэпс выгибалась на коленях у Рональда, возбужденная пением Сатчмо (тема была довольно простенькой и допускала некоторые вольности, с которыми Рональд ни за что бы не соглашался, исполняя Сатчмо «Yellow Dog Blues»), кроме того, затылок ей щекотало дыхание Рональда, пахнувшее водкой. Устроившись на самом верху удивительной пирамиды из дыма, музыки, водки и рук Рональда, то и дело позволявших себе вылазки, Бэпс снисходительно, сквозь полуопущенные веки, поглядывала вниз на сидящего на полу Оливейру; тот прислонился к стене, к эскимосскому ковру

---

<sup>34</sup> Ты не думай: Я тихий только на вид (англ.).

из шкур, совершенно опьяневший, и курил с характерным для латиноамериканца выражением досады и горечи; иногда между затылками проступала улыбка, вернее, рот Оливейры, которого Бэпс некогда (не теперь) так желала, кривился в улыбке, а все лицо оставалось будто смытым и отсутствующим. Как бы ни нравился ему джаз, Оливейра все равно никогда бы не отдался этой игре, как Рональд, не важно, хорош был джаз или плох, «горячий» он был или «холодный», негритянский или нет, старый или современный, чикагский или нью-орлеанский, – никогда бы не отдался тому джазу, тому, что сейчас состояло из Сатчмо, Рональда и Бэпс, «Baby don't you play me cheap because I look so meek», а за ним – прорыв трубы – желтый фаллос, прорезывающий воздух почти с физическим ощущением удовольствия, и в конце – три нисходящих звука, гипнотизирующих звука чистого золота, и совершенная пауза, в которой весь свинг мира трепетал целое невыносимое мгновение, и следом – вершина наслаждения, точно извержение семени, точно ракета, пущенная в ждущую любви ночь, и руки Рональда, ласкающие шею Бэпс, и шипение иглы на все еще крутящейся пластинке, и тишина, которая всегда присутствует в настоящей музыке, а потом словно медленно отделяется от стен, выползает из-под дивана и раскрывается, как губы или бутон.

– Ça alors<sup>35</sup>, – сказал Этьен.

– Да, великая эпоха Армстронга, – сказал Рональд, раз-

---

<sup>35</sup> Здесь: ну вот (фр.).

глядывая стопку пластинок, отобранных Бэпс. – Если хотите, это похоже на период гигантизма у Пикассо. А теперь оба они – старые свиньи. Остается надеяться, что врачи когда-нибудь научатся омолаживать... Но пока еще лет двадцать они будут проедать нам плешь, вот увидите.

– Нам – не будут, – сказал Этьен. – Мы ухватили у них самое-самое, а потом послали их к черту, и меня, наверное, кто-нибудь пошлет туда же, когда придет время.

– Когда придет время, – скромная просьба, парень, – сказал Оливейра, зевая. – Однако мы действительно сжалились и послали их к черту. Добили не пулей, а славой. Все, что они делают сейчас, – как под копирку, по привычке, подумать только, недавно Армстронг впервые приехал в Буэнос-Айрес, и ты даже не представляешь, сколько тысяч кретинов были убеждены, что слушают нечто сверхъестественное, а Сатчмо, у которого трюков больше, чем у старого боксера, по-прежнему виляет жирными бедрами, хотя сам устал от всего этого, и за каждую ноту привык брать по твердой таксе, а как он поет, ему давно плевать, поет как заведенный, и надо же, некоторые мои друзья, которых я уважаю и которые двадцать лет назад заткнули бы уши, поставь ты им «Mahogany Hall Stomp», теперь платят черт знает сколько за то, чтобы послушать это перестоявшее варево. Разумеется, у меня на родине питаются преимущественно перестоявшим варевом, замечу при всей моей к ней любви.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.